

В. И. ДМИТРИЕВА

МАМА НА ВОЙНЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"



В. И. ДМИТРИЕВА

МАМА
НА
ВОЙНЕ

РАССКАЗЫ

МОСКВА

„Детская литература“

1976

Д53
Р2

Эту книгу составил и об авторе её в предисловии рассказал
О. ЛАСУНСКИЙ

Рисунки
В. ГАЛЬДЯЕВА

Д 70802—213 129—76
М101(03)76

- © Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1974 г.
© Предисловие с изменениями. Иллюстрации.
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 г.

В. И. ДМИТРИЕВА И ЕЕ ГЕРОИ

Стоял хмурый осенний день 1877 года. В слободу Песчанка, по дороге со стороны города Балашова, въезжала на попутной подводе новая учительница. Близоруко щурясь, она с неподдельным интересом рассматривала низенькие избы с нахлобученными шапками соломенных крыш, покосившиеся плетни, колодцы с длинными, как у журавлей, шеями. Что её тут ждёт?

Девушке не терпелось поскорее добраться до школы, и она поторапливала возницу. Наконец, хлюпая колёсами по грязи, телега дотащилась до маленькой слободской площади. Приехавшая, не дожидаясь ничьей помощи, легко спрыгнула на землю, потом сняла с подводы походный саквояж и перевязанную бечёвкой стопку книг — больше у неё из вещей ничего не оказалось.

Она выглядела совсем молоденькой, почти подростком. Ей и в самом деле едва минуло восемнадцать. Но бородатые мужики, окружившие девушку, с подчёркнутым почтением обращались к ней на «вы» и величали по имени-отчеству — Валентиной Иововной, — они встречали учительницу.

Это была В. И. Дмитриева, ставшая впоследствии известной писательницей.

Работать тогда в земской школе¹ было тяжело. Дмитриевой и вовсе не повезло. Классная комната, одна-единственная, находилась в избе-развалюшке. Холод стоял ужасный, потому что дуло в окно, заткнутое соломой. На грубо сколоченных скамьях сидели ученики разных возрастов. Под потолком чадила керосиновая лампа, и её света не всегда хватало, чтобы разбирать по растрёпанной «Азбуке» буквы. Места не доставало, малыши устраивались у самой печки — заодно и к теплу поближе.

Дмитриева быстро подружилась со своими питомцами; их пытливо раскрытые глаза и робкие благодарные улыбки служили лучшей наградой за труд. Ребята буквально впитывали в себя каждую её фразу, внимали каждому жесту. Они уже свободно складывали и умножали на больших вертикальных счётах, декламировали наизусть стихи Пушкина, Кольцова, Никитина. Они в воображении путешествовали по дальним странам, о существовании которых раньше и не подозревали.

Иногда среди урока взор учительницы почему-то затуманивался, на лицо набегала грусть. В эти минуты, может быть, она вспоминала о своём недавнем детстве...

Валентина Ивовна Дмитриева родилась ещё при крепостном праве, в 1859 году. Отец её, Иов Филиппович, был собственностью крупного помещика Нарышкина. Правда, спустя два года он стал, как и все мужики, вольным, но нужды от этого не убавилось. Семья скиталась по чужим углам, умер

¹ Зёмская школа — сельская начальная школа в дореволюционной России.

от постоянного недоедания один из маленьких братьев. Девятилетняя Валентина, как самая старшая среди детей, выполняла обязанности няньки.

У этой крестьянской девочки оказалась незаурядная сила воли. В её голове засела дерзкая мысль — непременно поступить в гимназию. Самоучкой одолев грамоту, Дмитриева начала много читать, а на десятом году даже взялась за дневник. Каждый вечер она заносила в тетрадку, выпрошенную у отца, минувшие впечатления.

В одном из московских архивов, где сохраняются тысячи разных исторических документов, отыскались и многочисленные дневники Дмитриевой. Как надо было любить это занятие, чтобы не оставлять его на протяжении стольких лет! Юная сочинительница изображала, например, как выглядит родной хутор утром, в полдень, вечером, ночью; о содержании других сценок красноречиво говорят уже сами названия — например, «Набег на морковь».

Отец привозил из поездок старые книги и разрозненные номера журналов. Девочка выискивала описания страшных, удивительных или таинственных происшествий и не уставала их перечитывать по нескольку раз.

Когда совсем нечего было читать, Дмитриева вместе с братом «издавала» собственные рукописные журнальчики, которые заполнялись тут же придуманными стихами и романами. Рассказывалось в них о самом необыкновенном. Действующими лицами всегда оказывались или разбойники, или волшебники. А героиня, девица Антонина, была небывалой красоты и небывалого ума. Её преследовали, сажали в тюрьму, подвергали пыткам, но ей всё удавалось, и везде она одерживала победу.

Позднее, став настоящей писательницей, В. И. Дмитриева не изменила отроческим мечтам. В её произведениях герои тоже проходят сквозь тяжёлые испытания и неизменно одолевают встре-

чающиеся на пути препятствия. Их поступками движет неистребимая вера в торжество добра и справедливости над силами зла.

Малолетней няньке очень хотелось попасть в школу. Но как это осуществить? Однажды, вспоминает Дмитриева в автобиографии, она задумала, по примеру Ломоносова, бежать в Москву учиться. Сшила себе мешок, уложила туда дневники и тихим февральским утром ушла из дома. Но на окраине села изловил её сторож и со всеми дневниками доставил обратно. Было много смеху и слёз, но неудача нисколько не охладила стремления учиться.

Дмитриева решила тогда готовиться к поступлению в гимназию. Родители вынуждены были уступить. Тем более, что одна состоятельная дама обещала взять на себя содержание девочки. И вот в сентябре 1873 года дочь крестьянина принимают сразу в четвёртый класс Тамбовской женской гимназии. На даму-благодетельницу особенно рассчитывать не следовало: чтобы прокормиться, приходилось давать уроки ленивым барчукам.

Как-то раз принесли в класс нелегальную прокламацию¹ — такого ещё никогда не случалось в гимназии. Накануне город взволновали слухи об арестах среди тамбовской молодёжи. Дмитриевой устраивают встречу с революционно настроенными людьми, она знакомится с запрещённой литературой, в которой рассказывалось об угнетении мужика царём, попом да мироедом². И когда через четыре года гимназический курс наук подошёл к концу, Дмитриева ясно представляла свой путь: нести в заскоружную деревенскую глушь свет знаний, растить бодрым и толковым юное поколение.

¹ Нелегальная прокламация — листовка антиправительственного содержания.

² Мироед — кулак.

Вот и оказалась в Песчанке новая «учителька» — так ласково называли её крестьяне. Теперь понятно, почему Дмитриеву не испугали житейские невзгоды: она ведь помышляла не о личных удобствах, а об общественном благе.

Да, Дмитриева относилась к числу тех самоотверженных русских женщин прежнего времени, которые были готовы даже пожертвовать собой во имя прекрасного будущего. Они шли в народ, желая разделить с ним горькую участь. Они добровольно взвалили на хрупкие плечи неженской тяжести груз и никогда об этом не жалели. Среди таких неприметных героинь было много врачей, фельдшериц и особенно учительниц.

В Песчанке удержаться долго не удалось — и не по вине Дмитриевой. Просто на неё начали косо посматривать местные богатеи. Странная она, дескать, какая-то: в гости к попадье и лавочнице не ходит, а всё больше с голодранцами якшается, да небось еще крамольные¹ книжки им носит.

А учительница действительно после уроков часто наведывалась в избы, вела беседы о горемычном житье-бытье, рассказывала о декабристах, читала стихотворения Некрасова, а кому доверяла — так и кое-что из недозволенного. Песчанцы души не чаяли в Валентине Иововне, шли к ней со своими бедами и нуждами.

Пожаловались они однажды на волостного писаря² Сушкевича — мол, вконец замучил поборами. Дмитриева возьми да и напиши о плутнях писаря в «Саратовский листок». Корреспонденцию напечатали, Сушкевича за жульничество слегка пожурили. Только и он в долгу не остался: отправил по начальству форменный донос на учительницу — настраивает-де мужиков против законных властей.

¹ Крамольные — здесь: направленные против существующего строя.

² Волостной писарь — должностное лицо в дореволюционной деревне.

Пришлось перебираться из слободы в другое село, Еловатку. А тут весна наступила, всё население Еловатки вышло в поле, школа опустела. Девушка вернулась в Балашов, собираясь готовиться к экзаменам на врачебные курсы.

Педагогическая карьера закончилась для Дмитриевой навсегда. Но недаром говорят, что впечатления молодости — наиболее яркие и живучие. Позднее на страницах произведений Дмитриевой часто будут появляться сельские учительницы и школяры.

Таков знаменитый рассказ «Малыш и Жучка», выдержавший с 1896 года по сию пору более двадцати изданий. Несколько поколений читателей наслаждались этой бесхитростной и трогательной историей о мальчугане, по прозвищу Малыш, и егомышлёной собаке Жучке, которая спасла хозяина от неминуемой смерти.

Перед глазами писательницы, когда она работала над рассказом, вставали образы почти двадцатилетней давности, весёлые забавы песчанских учеников, непосредственных и озорных, как все ребяташки. На память приходило и другое: поголовная нищета слобожан, лепёшки из отрубей вместо хлеба, зимняя стужа, от которой не оберегала ветхая одежонка.

Но сильнее голода и холода — человеческая взаимопомощь, выручка, верность в дружбе. Произведение Дмитриевой удивительно светлое по настроению. Автор как будто внушает: посмотрите, что за славное существо этот Малыш, как тянется он к знаниям, как отзывчив! Такому, когда он вырастет, по плечу будет любое дело.

В. И. Дмитриева рассказывала о себе: «...Всё детство моё протекло в деревне, и первую школою моей была деревенская улица, а учителями были серые деревенские люди и угрюмая нужда».

Впервые в стране из крестьянского рода вышла

женщина-писательница. Весь свой талант, унаследованный от народа, Дмитриева вернула ему с лихвой. Главными героями многих её книг стали простые труженики, что кормили хлебом всю Россию-матушку. С особой симпатией и даже нежностью рисовала Дмитриева милую сельскую детвору.

Вот перед нами сирота Ганька из рассказа «Волчонок». Невыносимое у неё житьё. Вечно недоедает, ходит в обносках; достаётся ей и от тётеньки Прасковьи, и от шалунов-мальчишек. И прозвище-то противное придумали — Волчонок. А какой же Ганька Волчонок, если её сердце открыто настежь для доброты и ласки!

Только «маленький человечек» Алёшка тянется к своей няньке. А вот тётенька Прасковья зря обижает сироту, попрекает каждым куском, наконец, выгоняет из дому. Однако Ганька понимает: не всегда тётенька Прасковья была сердитой да ворчливой. Такой её сделала забота о хлебе насущном, постоянный страх, как бы не пришлось по миру идти, милостыню под окнами просить.

Но даже очерстневшую душу тётеньки Прасковьи потрясает решимость девочки, бросившейся в огонь за Алёшкой. Вот вам и Волчонок!

Потому и нравятся писательнице дети, что их чувства не испорчены, а поступки искренни. Подчас не детям следовало бы брать пример со взрослых, а наоборот — взрослым с детей. Не прояви Ганька такой отчаянной смелости, пропал бы «маленький человечек». Какой урок благородства преподала она трусоватым и нерасторопным «дяденькам»!

Кое-кто скажет: такого случая, наверное, не было, Дмитриева всё придумала. Но, согласитесь, если и придумала, то неплохо: ведь мы верим в происходящее, словно на наших глазах Ганька совершает свой подвиг. А впрочем, эпизод этот

вполне мог произойти и в действительности. В былые времена летом в деревнях нередко возникали пожары, выгорали целые селения. Ребятишки в такие трагические минуты зачастую проявляли исключительное мужество.

С осени 1878 года В. И. Дмитриева занимается в Петербурге на врачебных курсах. Её квартира скоро делается приютом для тех, за кем охотилась царская охранка, и местом хранения запрещённой литературы. Сама курсистка лекциям профессоров предпочитала секретные сходки, где велись жаркие споры о способах борьбы с самодержавием. Как-то раз в доме, где собирался кружок передовой молодёжи, Дмитриева встретила студента Александром Ульяновым, старшим братом В. И. Ленина, тоже революционером.

Жилось нелегко. Земская стипендия из Балашова почему-то запаздывала. Не на что было купить снадобий в аптеке, когда свалил брюшной тиф; спасибо, товарищи поддержали. Пришлось и поголодать. Очень кстати оказался подсобный заработок: несколько рассказов Дмитриевой появилось в печати и было принято публикой доброжелательно.

С этого времени и вплоть до 1917 года имя В. И. Дмитриевой не сходит со страниц столичных журналов. Оно становится популярным среди русских читателей.

Окончив курсы, Дмитриева почти двадцать лет проработала доктором в разных сёлах. Каких только картин не перевидала Дмитриева в своих скитаниях! По обязанности «эпидемического» врача посетила вымирающие деревни Воронежской губернии, где тиф и холера косили жителей направо и налево. Насмотрелась и надрывающих сердце сцен, когда в мучениях погибали дети, вовсе беззащитные против хвороб.

Какое лекарство она могла предложить этим горемыкам? Как писательница Дмитриева прозрачно намекнула, что есть одно, зато безотказно действующее лекарство — свергнуть основанный на грубой силе царский режим. Кстати, картины крестьянских выступлений, стычек с войсками, жестокого усмирения бунтовщиков часто встречаются в различных произведениях Дмитриевой.

Из рассказов, составивших «Заметки земского врача», наиболее примечателен «Больничный сторож Хвеська».

Редкостное обаяние исходит от непритязательной деревенской девчонки Хвеськи (то есть Федосьи), на удивление сообразительной и трудолюбивой. Она прямо-таки горит желанием делать всё быстро и сноровисто. Всего только сторож при земской лечебне, Хвеська стоит гораздо выше жадного, расчётливого фельдшера Кудакина и некоторых других взрослых. И особенно нам нравится в Хвеське неудержимая тяга к грамоте, к книге.

Дмитриевой удалось показать через характеры деревенских детей пробуждение в крестьянстве новых возможностей. Из забитой деревенской толпы начинают выдвигаться яркие люди вроде Хвеськи. У них есть чувство собственного достоинства и готовность потрудиться для лучшей жизни.

Дмитриева сама принадлежала к этой даровитой молодой поросли, и ей было отрадно видеть, как немудимо проникает свет знания в глухие, медвежьи углы. «Сколько таких огоньков рассеяно по Руси!» — многозначительно восклицает писательница.

Когда Дмитриева оканчивала Тамбовскую гимназию, на Балканах вспыхнула война с Турцией. То была освободительная война. Русские люди пришли на помощь болгарским братьям, стонавшим в продолжение пяти веков под пятой турецкого владычества. На горных вершинах Шипки, в полях под Плевной, Пловдивом, Софией остались

могилы русских солдат. Много крови пролилось тогда за независимость Болгарии.

Молодёжь охватили патриотические настроения. Студенты Петербурга, Москвы, Казани записывались добровольцами в действующую армию. Курсистки бросали учёбу, оставляли семьи и шли сёстрами милосердия в полковые лазареты.

Так поступает и курсистка Юрьева из рассказа Дмитриевой «Мама на войне». Она покидает привычный домашний уют, передаёт на попечение мужа троих детишек и уезжает в Болгарию. Много лет спустя, в годы Великой Отечественной войны, подобный героизм проявили многие советские женщины, ушедшие по зову сердца на фронт.

Самих сражений на страницах рассказа нет, но их страшные отголоски доносятся до петербургской квартиры Юрьевых в виде писем от мамы. Любая война — это покалеченные тела, раны, страдания. Война — состояние противоестественное, подчёркивает писательница каждой строкой. Вместе с тем превыше любых физических мук оказываются воля человека и стремление его к свободе.

Маленькие герои Дмитриевой успешно выдерживают жестокий экзамен, устроенный жизнью. Сначала их детская фантазия рисует боевые операции как увлекательную игру: гарцующие на конях генералы в мундирах и с саблями, команда «пиф! паф!», гром музыки, развевающиеся знамёна. Но суровая правда маминых писем отрезвляет чуткие к чужой боли ребяческие души. В печку летят раскрашенные фигурки генералов — да здоровствует «полное разоружение и вечный мир!» Рассказ воспитывает чувство сострадания к несчастью людей, какой бы национальности они ни были...

Валентине Иововне Дмитриевой выпал долгий век. Родившись при крепостном праве, она сконча-

лась после второй мировой войны, в 1947 году. Более четверти столетия провела она в Воронеже. Здесь созданы повести «Гомочка», «Митюха-учитель», «Друзья детства», рассказы «Горюн», «Димка» и многие другие.

После 1917 года Дмитриева переехала в Сочи, где и похоронена. На склоне лет ей довелось встретиться и подружиться с Николаем Островским, автором знаменитого романа «Как закалялась сталь». В домике, где протекали последние годы престарелой писательницы, теперь отдыхают в курортный сезон литераторы — так распорядилась своей собственностью покойная владелица. На домике установлена в честь Дмитриевой мемориальная доска.

Но нет лучшей памяти о художнике, чем его произведения. Книги В. И. Дмитриевой учат нас быть не только умными, но и добрыми, честными, упорными в достижении светлых целей. И сама писательница, и её юные герои продолжают оставаться нашими современниками.

Олег Ласунский

МАЛЫШ И ЖУЧКА

I

Когда мать Малыша, Федосья, привела его в первый раз в школу, учительница с удивлением сказала:

— Какой маленький! Сколько же ему лет?

— Седьмой годок пошёл, — сказала Федосья.

Учительница покачала головой:

— Нет, матушка, я не могу его принять. У нас в школе и так тесно, большим места нет, а вы ещё младенцев будете приводить. Куда я с ним денусь? Нет, не могу!

— Прими, пожалуйста! — просила Федосья. — Что делать, родимая, уж очень мне с ними трудно! Муж у меня помер, осталась я сиротинкой, а детей-то семеро, мал мала меньше, да все девочки. Просто голова кругом идёт! Ну, девчонок-то я за дело посажу, а вот этот озорник останется один да и вертится под ногами. Прими, Анна Михайловна, пусть он хоть у тебя позаймётся!

Анна Михайловна молчала и глядела на Малыша. Он стоял перед ней такой крошечный, в рваном полушубке, с огромной, должно быть отцовской, шапкой в руках и серьёзно глядел на неё своими большими серыми глазами. Нос пуговкой смешно торчал кверху; белые, как лён, волосы завивались кудряшками.

— Да что же я с ним делать буду? — сказала она, улыбаясь. — Ведь он, я думаю, и говорить-то ещё не умеет!

— И, что ты, родимая! — воскликнула Федосья. — Ты не гляди на него, что он мал, — он шустрый такой, беда! А учиться страсть охотится, всё пристаёт: «Мамушка, отведи меня в школу!» Ну, Федюня, — обратилась она к Малышу, утирая ему нос пальцами, — что же ты молчишь? Поговори с тётенькой, а то, вишь, она думает, что ты у меня немой!

Малыш потянул в себя носом, махнул шапкой и сказал:

— А у меня Жучка есть!

— Это ещё что за Жучка? — смеясь, сказала учительница.

— Да это он про собачку, — отвечала за него мать, ободрённая тем, что учительница развеселилась. — Собака у нас, Жучка, и собачонка-то дрянная, а вот, поди ты, привязалась, так за ним и бегаёт! Водой не отольёшь!

— И вовсе не дрянная! — обиженно возразил Малыш. — Она хорошая! И служить умеет и... Да вон она!..

И Малыш показал на окно, в которое с улицы заглядывала косматая, вся в репьях, с взъерошенными ушами собачья морда.

— Ишь, сидит! — с удовольствием сказал Малыш. — Это она нас дожидается! Эй, Жучка!

И, к ужасу своей матери, он вдруг засвистал что было сил.

— Ах ты озорник! Ах ты разбойник! — засуетилась мать. — Что ты делаешь, озорник? Что о тебе тётенька-то подумает? А? И в школу не примет.

Но Анна Михайловна смеялась до слёз и над Малышом и над его Жучкой, которая на свист хозяина отвечала с улицы радостным лаем.

Посмеявшись, она сказала:

— Ну хорошо, так и быть, присылай его в школу. Вот я его вышколю!

— Хорошенько его, Анна Михайловна, чтобы

не озорничал! Слышишь, Федюнька, в школу будешь ходить к тётеньке!

— Ну, что ж! — согласился Малыш, опять потянув носом.

— Учись хорошенько, слышишь? Да поблагодари ещё, что она тебя учить будет. Слышишь?

— Слышу небось!

Они вышли.

Жучка с радостным визгом бросилась к ним и первым делом облизала Малышу всю рожицу.

Анна Михайловна, стоя у окна, слышала, как он говорил ей, нахлобучивая на голову шапку:

— Ну, Жучка, я в школу поступил! Ты теперь ко мне не лезь!

Жучка от восторга перекувырнулась и с громким лаем помчалась по улице, а Малыш, заложив руки в карманы, важно выступал вслед за матерью, и его крошечную фигурку чуть видно было из-под лохматой отцовской шапки.

II

Когда на другой день Малыш явился в школу со своей верной Жучкой, ученики встретили его смехом и шутками.

— Гляди-ко, братцы, великан какой. Ай да богатырь! А шапка-то, шапка-то, словно у Ильи Муромца! И собака с ним... Вот так собака! Ха-ха-ха!

Малыш не обращал внимания на эти насмешки и только фыркал носом. Пусть их смеются! А нука, у кого из них есть такая собака, как Жучка? И шапка тоже ничего. Её ещё покойный батя носил — хорошая шапка, тёплая, из овчины. А что он сам маленький, так это не беда — ещё вырастет!

Но Анна Михайловна вступилась за Малыша.



Анна Михайловна молчала и глядела на Малыша.

— Не смейте обижать Малыша! — прикрикнула она на насмешников. — Маленьких обижать нельзя.

— Ты, тётя, его с девочками посади! — посоветовал кто-то из самых отчаянных шалунов.

Все опять засмеялись.

— А вот я тебя самого сейчас к доске посажу! Вот и стыдно будет одному у доски сидеть. Большой, а шалишь!

Шалуны присмирели и только между собой перешёптывались, глядя на Малыша: «Малыш! И впрямь Малыш!»

Анна Михайловна посадила Малыша на переднюю скамейку, и ученье началось. Старшие ученики делали задачи, а младшие учили буквы. И Малыш вместе с ними распевал: «А-а-а... М-м-а-а...»

А за окном, на завалинке, виднелась косматая голова Жучки, дожидавшейся своего хозяина.

Она сидела смирно, словно понимая, что Малыш занят серьёзным делом, и только изредка поднимала вверх косматые уши, прислушиваясь к странным звукам, доносившимся до неё из школы.

Так начался для Малыша первый день его ученья, и, возвращаясь из школы домой, он весело посвистывал и напевал про себя: «А-а-а! М-а-ма!»

Жучка шла с ним рядом и важно поглядывала по сторонам, как будто хотела сказать: «А что? Вот мы нынче какие — в школу учиться ходим!»

III

Малыш учился хорошо, и хотя учительница занималась с ним шутя и не требовала от него, чтобы он шёл наравне со всеми, но он не только не отставал от других, а ещё и перегонял многих. Одно ему никак не давалось — буква «ш». Как он ни старался, всё выходило у него вместо «каша» — «каса», вместо «Маша» — «Маса». Это его очень

огорчало, особенно потому, что ученики подсмеивались над ним.

— Эх ты, каса-Маса! — дразнили они его исподтишка, когда он, весь красный от натуги, выводил тоненьким голоском: «Мас-а... варила касу-у...»

Малыш умолкал и обращался к учительнице:

— Тётенька, что они все смеются? Не вели им!

— Ничего, Малыш, — ободряла его Анна Михайловна. — Пусть себе смеются, а ты их не слушай. Вот погоди, через год ты лучше их будешь говорить.

— А, сто! — говорил Малыш с торжеством, обращаясь к товарищам.

— Сто! Сто! Каса-Маса! — слышалось ему в ответ сдержанное шипение.

И Малыш снова впадал в уныние.

Но это были маленькие неприятности, а вообще Малышу было в школе хорошо. Его все любили, и даже самые злые насмешники в перемену угощали его печёной картошкой, пышками с творогом или жареным горохом, который так приятно хрустел на зубах. Иногда перепадало что-нибудь и Жучке, которая тоже всем очень понравилась, особенно потому, что умела «умирать», подавать лапу и прятаться от волка. В перемену её обступала целая толпа, и Жучка никогда не уставала показывать свои фокусы, которым научилась неизвестно где.

Ребята были в восторге.

— Ну собака! Молодец! — восклицали они. — И где это ты, Малыш, её достал? Ведь глядеть — неказиста, а поди ты, умная какая! Ай да Жучка!

Жучка и вправду была неказиста на вид. Вместо шерсти у неё висели какие-то грязные серые лохмотья, в косматых ушах и в облезлом хвосте засели репы, морда вся заросла, и только глаза у неё были хороши. Большие, прозрачные, жёлтые, как янтарь, они глядели так умно и внимательно, что казалось — вот-вот Жучка заговорит человеческим голосом.

Несмотря на то что Малыш жил очень далеко от школы, на самом конце села, за оврагом, он приходил в школу раньше всех.

В окна, занесённые снегом, едва-едва брезжит утренний свет, Анна Михайловна ещё лежит в постели, а в сенях уже слышится какая-то возня — кто-то осторожно обивает сапоги о порог. Потом дверь в школу тихонько отворяется, и до Анны Михайловны доносится знакомое пофыркивание носом.

— Это ты, Малыш? — спрашивает она из своей комнаты.

— Я, тётенька.

— Озяб?

— Не, я-то не озяб, а вот Жучка небось озябла, — отвечает Малыш.

Но Анна Михайловна знает все его хитрости и, улыбаясь, говорит:

— Ах, бедная Жучка! Ну что же,пусти её, пусть погрееется!

Малышу только этого и надо! Он отворяет дверь, и Жучка тихонько, повиливая хвостом в знак благодарности, прокрадывается в школу и ложится в уголке у печки.

Потом приходит соседка, которая топит печку, моет в школе полы, ставит Анне Михайловне самовар и стряпает. Малыш помогает ей таскать солому, и в печке весело вспыхивает огонёк, распространяя приятную теплоту. Жучка от удовольствия вздыхает и осмеливается даже забраться на солому. Но соседка — женщина суровая, не любит баловства и гонит Жучку прочь:

— Пошла, пошла! Ишь ты барыня какая, разлеглась! Зачем собаку в избу пускаете? Она поганая.

— Ан врёшь! — возражает обиженный Малыш. — Это кошка поганая, а собака не поганая.

— Ну, учи меня ещё!



В перемену её обступала целая толпа, и Жучка никогда не уставала показывать свои фокусы...

Но Малыш не уступает, и они спорят до тех пор, пока не вскипит самовар.

Иногда случалось и так, что в разгаре спора соседка забывала вовремя снять с самовара трубу и кипящая вода с шипением и брызгами лилась через край. Начиналась суматоха: Малыш бросался снимать трубу, соседка искала крышку, испуганная Жучка пряталась под лавку. Анна Михайловна смеялась до слёз.

— Всё из-за тебя, озорник этакий! — ворчала соседка. — Гляди-ка, что наделали! Заговорилась с тобой, и самовар ушёл!

— А ты в другой раз не спорь! — поддразнивал её Малыш.

— Ну, будет тебе, Малыш. Иди-ка лучше чай пить, — говорила Анна Михайловна.

Малыш не заставлял себя долго просить. Он снимал с себя полушубок и, оставшись в одной рубашке и полосатых синих штанах, входил к Анне Михайловне. Учительница ставила перед ним чашку чая с молоком и клала большой ломоть ржаного хлеба. Малыш очень любил пить чай и пил его с чувством и удовольствием, причмокивая, откусывая крошечные кусочки сахару и заедая большими кусками хлеба. Хлеб он съедал весь до крошки, а сахар оставлял и, опрокинув чашку кверху дном, клал оставшийся кусочек на донышко и говорил: «Будя!» Это повторялось аккуратно каждый раз, и каждый раз Анна Михайловна говорила Малышу:

— Малыш, а ты опять сахар-то оставил? Возьми его себе!

— Ну что ж! — говорил Малыш и, спрятав огрызок в карман своих полосатых штанишек, прибавлял: — Я его Дунятке отнесу.

Дунятка была самая младшая сестрёнка Малыша, и он очень любил её. Когда вместо ржаного хлеба учительница давала ему баранки, он никогда не ел их, а непременно прятал и нёс Дунятке.

— Да ты сам-то ешь, — упрашивала его Анна Михайловна. — Я тебе для Дунятки ещё дам.

— Ну, вот ещё, стану я их есть! — возражал Малыш. — Я небось и хлеба наемся: я большой, а Дунятка маленькая!

IV

Раз после ученья Малыш, уже совсем одетый, подошёл к учительнице:

— Тётенька, пойдём к нам?

— Пойдём.

— Ну, так я тебя на улице подожду, а ты выходи.

Ему не терпелось идти домой, да ещё с кем — с самой тётенкой! И он важно уселся на завалинке.

— Ты что же, Малыш, домой-то не идёшь? — кричали ему товарищи.

— Я тётенку дожидаюсь! — отвечал Малыш с гордостью.

Ребята запустили в него снежками и побежали. Очень хотелось Малышу отплатить им тем же, но он стерпел: нельзя, сама тётенка к нему в гости идёт, а он будет снежками баловаться. Не маленький небось!

— Ну, Малыш, какого же гостинца мы Дунятке понесём? — сказала учительница, выходя на улицу.

Малыш почесал в затылке и, подумав немного, отвечал:

— Баранок!

— Ну хорошо, пойдём в лавку, купим баранок.

Пришли в лавку. Купили баранок и ещё белых мятных пряников, при виде которых у Малыша даже слюнки потекли.

— А это ты кому?

— Всё Дунятке.

Больше он ничего не говорил. Никогда ещё

этого с ним не бывало! Столько гостинцев сразу... Даже когда тятка покойный был жив, и то так не было. Принесёт, бывало, с базара петуха пряничного, или баранок, или маковников, а чтобы сразу и того и другого... нет, этого не бывало. А Дунятка, Дунятка-то вот обрадуется!..

Перешли через овраг и очутились в переулке, занесённом снегом. С одной стороны виднелись гумна со скирдами хлеба, а с другой — лепились крошечные избушки. Тут было глухо и пустынно, а вместо дороги в снегу вилась еле заметная тропинка.

— Вот и наша изба! — весело сказал Малыш, указывая на утонувшую в снегу хатку с маленькими оконцами и покосившейся трубой на крыше.

Кое-как перебравшись через сугроб, они подошли к дверям, и Малыш с видом настоящего хозяина постучал кольцом. Жучка, почуяв дом, радостно визжала.

— Это кто там? — послышался голос Федосьи.

— Это я, мамушка, с тётенькой пришёл! — отозвался Малыш.

Федосья отперла дверь. Они вошли в маленькую, тесную избу, в которой было уже совсем темно, потому что окна пропускали мало света. Старшая сестра Малыша, девочка лет тринадцати, сидела у печки и прядла. По лавкам бегали другие девочки, помоложе. В углу на шесте висела люлька, а в ней качалась маленькая хорошенькая девочка, похожая на Малыша. Это была его любимица — Дунятка. При входе Анны Михайловны она испугалась и заплакала, а девочки попрятались за печь.

— Хозяин пришёл! — крикнула одна из них, и из-за печки послышался смех.

— Ну, ну, не баловать у меня! — строго крикнул на них Малыш. — Это ведь они меня хозяином-то зовут! — обратился он к учительнице.

— Как же, и то ведь хозяин! — сказала Фе-

досья. — Один ведь у нас мужик-то растёт, один работничек, кормилец будет!

Дунятка перестала плакать и с удивлением глядела на учительницу. Девочки в рубашонках тоже понемножку выползли из-за печки и обступили гостью, ощупывая её платье, платок и даже волосы. Когда она развязала свой узелок и выложила на стол гостинцы, восторгу не было конца.

— Смотри-ка, баранков-то сколько! — шепнула одна.

— А пряники-то! — воскликнула другая.

— И мне, и мне! — закричала Дунятка.

Пришлось и её вытаскивать из люльки. И пошёл в Федосьиной избе пир горой. Давно такого не бывало. Всех довольнее и веселее был маленький хозяин. Он так разошёлся, что вздумал было поплясать, но тут ему под ноги подвернулась Жучка; он перекувырнулся через неё, разбил себе о печку нос, очень сконфузился и наконец преспокойно заснул рядом с Дуняткой, привалившись к материнскому плечу.

V

Наступили сильные холода, завывали сердитые метели и засыпали село огромными сугробами. Учеников в школе убавилось, потому что многие жили далеко от школы, у них не было тёплой одежды и они поневоле должны были сидеть дома и дожидаться тёплой погоды. Но больше всех в селе бедствовала Федосья со своими ребятишками. Ей было трудно справиться одной, без хозяина. Некому было отгрести снег от избы, некому привезти соломы с гумна, чтобы затопить печку и накормить скотину, некому достать хлеба для голодных детей. Поэтому она часто со всей семьёй сидела в темноте, в холоде, без хлеба, а на дворе жалобно ревела голодная корова.

Учительница помогала Федосье чем могла, но этой помощи было, конечно, мало, и бедная женщина выбивалась из сил.

Малыш продолжал ходить в школу. Когда разгуливалась вьюга или трещал мороз, учительница оставляла мальчика в школе ночевать.

Тихо и мирно проходили у них эти вечера. На дворе воеет ветер, в окна сыплет снег, а в школе тепло, светло и уютно. На столе ярко горит лампа; Анна Михайловна читает книжку, а Малыш сидит напротив неё и, высунув язык, пишет буквы на аспидной доске¹.

Жучка тоже здесь, лежит у печки, легонько похрапывает и бредит во сне. То залает жалобно, то зарычит: должно быть, волки снятся. Но Малыш и про Жучку забыл — так углубился в свою работу. Иногда он отодвигает от себя доску и издали любуется на выведенные им буквы. Они ему очень нравятся; нужды нет, что буква «а» у него совсем свалилась набок и словно хромает, а буква «о» похожа на витой крендель. Впрочем, Малыш сейчас же замечает все недостатки своей работы и начинает их исправлять, разговаривая с буквами вслух.

— Постой, постой! — шепчет он, изо всех сил скрипя грифелем. — Ты чего рот-то разинула, нешто это хорошо? Дай-ка я тебе его закрою... Ну вот! А эта что хвостом-то завияляла? Не виляй, не виляй... Ну, захромала! Постой, я тебя сейчас подкую... Во-во-во как!..

И, «подковав» непослушную букву, он обращается к Анне Михайловне:

— Ну-кося, тётянька, погляди. Хорошо? А?

— Хорошо, — отвечает учительница и снова

¹ Аспидная, или грифельная доска, — доска размером несколько больше листа тетради, сделанная из твёрдого, чёрного цвета аспидного сланца (шифера). На такой доске школьники писали грифелем — палочкой из мягкого сланца, — как мелом. Аспидная доска заменяла дорого стоявшую тогда бумагу.

углубляется в книгу, а Малыш начинает скрипеть грифелем.

Когда Малыш уставал писать, учительница читала ему книжки, показывала картинки или рассказывала разные занимательные истории. Малыш очень любил сказки про зверей. Некоторые так ему нравились, что он готов был слушать их по нескольку раз.

— Ну-ка, тётенька, расскажи мне ещё эту, про лисицу-то, как она волка обманула! Экая хитрячка! А волк-то дурак какой, даром что большущий. Ну, расскажи! — приставал он к Анне Михайловне.

— Будет, Малыш, я уж тебе десять раз рассказывала. Теперь ты мне расскажи.

— Да чего же я тебе расскажу? — Малыш призадумывался. — Постой, сейчас расскажу! Жил-был старик со старухой, у них был четверик с осьмухой...

Он останавливался и начинал чесать в затылке.

— Ну, — говорила Анна Михайловна, — дальше-то что?

— Ну, и нет ничего! Всё.

Анна Михайловна смеялась, а Малыш был очень доволен, что развеселил её своей сказкой.

Чаще всего он рассказывал ей о себе, о своей семье, о том, как они жили при бате. При бате-то им ещё ничего было, а когда он помер, лошадь продали, и не то что гостинцев — и хлеба-то нету.

При этих воспоминаниях Малыш затуманивался, и его большие ясные глаза становились печальными, как у большого. Но Анна Михайловна не давала ему задумываться.

— Ну, Малыш, ничего! — говорила она, ласково поглаживая его по голове. — Вот вырастешь большой, и сам будешь как батя.

Малыш оживлялся:

— Как вырасту большой, сейчас лошадь куплю! Пахать сам буду. Хорошую лошадь куплю — гнедую. А корову ты нашу видала?

— Нет, не видала.

— Вот я тебе её покажу, когда к нам придёшь. Её Лыской зовут. У неё лысинка на лбу, оттого она и Лыска. Я корову люблю... Её нельзя бить-то — она кормилица.

— Никого не надо бить, Малыш.

— Я не стану бить. Я как вырасту большой, буду добрый, как батя. Избу новую выстрою, чтобы светлая была, вот как школа наша. Потом всем гостинцев накуплю, мамушке шубу новую сошью, сёстрам — сарафаны, а Дунятке пряников куплю. И тебе гостинцев тоже куплю.

— Ну, вот спасибо, Малыш, что и меня не забыл!

— А то как же! Я тебя люблю. Вот как избу новую построим, ты тогда к нам жить переходи.

— Хорошо. А школа как же?

— А в школу мы на лошади ездить будем. Ведь тогда у нас лошадь будет.

В таких разговорах проходил вечер. После ужина глаза Малыша начинали слипаться, и он незаметно засыпал у печки, свернувшись калачиком рядом с Жучкой. Анна Михайловна сонного переносила его на постель, а Жучка, подобрав остатки ужина, отправлялась на улицу караулить школу, и всю ночь под окнами слышался её звонкий лай.

VI

Однако как ни хорошо было Малышу в школе, и тепло, и сытно, и Анна Михайловна сказки рассказывает, а всё-таки он начинал скучать о своих, если мороз задерживал его у учительницы на несколько дней.

Часто по вечерам, сидя за аспидной доской, он вдруг поднимал голову и начинал прислушиваться к завыванию ветра. Потом вздыхал и задумывался, пристально глядя на лампу.



*Спустившись на пол, Малыш садился около Жучки,
обнимая её косматую шею...*

— Ты что, Малыш, задумался? — спрашивала учительница.

— Что-то теперь наши делают? — отвечал Малыш. — Холодно небось у них, страшно... без меня-то...

— Ну, чего же страшно?

— А как же... Ну как вдруг волки?

— Волки в избу не полезут.

— А разбойники?

— Ну, какие разбойники! У нас в селе их нет.

— А всё-таки им со мной веселее. Всё-таки я мужик!

— Ах ты, мужик! — смеялась Анна Михайловна. — Ну-ка, давай поборемся, кто кого одолеет!

Но эти шутки не веселили Малыша. Спустившись на пол, он сел около Жучки, обнимал её косматую шею и начинал с ней тихонько разговаривать:

— Жучка, а Жучка! Хочешь домой, Жучка? Хорошо у нас дома-то, а? Небось мамушка прядёт, Анютка тоже прядёт, Машутка Дунятку качает... А Лыске небось холодно-холодно... Ревёт Лыска. Может, они нынче не ели ничего, Жучка, а? А мамушка небось соскучилась об нас, говорит: «И где мой Федюнька?»

На глазах у него навёртывались слёзы, а Жучка, чувствуя, что маленький хозяин невесел, начинала тихонько повизгивать и лизать его в лицо.

— А что, Малыш, соскучился, верно? — спрашивала Анна Михайловна, слушая эти разговоры.

Малыш немного конфузился и, чтобы не обидеть учительницу, отвечал:

— Не... ничего... А вот мамушка небось соскучилась...

— Ну что ж, вот завтра пойдёшь к ней, по-видаешься! — старалась успокоить его учительница.

От этих слов Малыш веселел, а на другой день, как только кончалось ученье, он отправлялся домой, непременно с каким-нибудь гостинцем за пазухой. Переночевав у своих, он возвращался в школу весёлый и рассказывал Анне Михайловне разные новости: про волка, который у соседа овцу загрыз, про Дунятку, про Лыску... И всё шло по-прежнему...

VII

Однажды у учительницы пекли хлеба. Ещё с утра Малыш всё толковал о том, что пойдёт нынче домой, а когда сели обедать и на столе появились аппетитные ломти горячего хлеба, от которого шёл душистый пар, он решительно заявил:

— Тётенька, я мамушке горяченького хлебца отнесу! Можно?

— Ну что ж, — сказала Анна Михайловна, — вот пообедаем, и пойдёшь.

Но не успели они ещё и кашу доесть, как повалил снег, да такой густой, что в школе сразу потемнело, будто сумерки.

— Ох, Малыш! — произнесла учительница. — Погляди-ка в окно, как ты пойдёшь?

Малыш опечалился и даже ложку положил.

— Нет, тётенька, я уж пойду! — сказал он умоляющим голосом. — Небось я дорогу-то знаю!

Анне Михайловне очень не хотелось отпускать Малыша в такую погоду, но он так глядел на неё, так просил отпустить его, что она не могла ему отказать.

Она укутала Малыша, обвязала тёплым платком, положила ему за пазуху хлеба, и он отправился. Жучка побежала за ним, и оба исчезли в вихре белых снежинок, крутившихся в воздухе.

Анна Михайловна, проводив Малыша, верну-

лась в школу и села было читать. Но ей не читалось, она всё думала о Малыше и беспрестанно подходила к окну. На улице разыгралась настоящая метель. Небо совсем слилось с землёю, дорогу замело, и сквозь вой ветра чуть-чуть доносились унылые звуки колокола, в который звонили для того, чтобы проезжие и прохожие, застигнутые метелью в поле, не заблудились. Потом начало быстро темнеть.

«Ах, и зачем я его отпустила? — в беспокойстве думала Анна Михайловна. — Или хоть бы сама с ним пошла... Куда такому малышу дойти!»

Наконец она не вытерпела, оделась потеплее и вышла на улицу. Но на пороге глаза ей засыпало снегом, а ветер чуть не сбил с ног. Идти одной было невозможно. Она зашла к соседке, рассказала ей, в чём дело, и попросила кого-нибудь проводить её до Федосьиной избы. Вызвался сын соседки, Иван. Он живо оделся, взял палку от собак, зажег фонарь, и они вышли. Но едва только они отворили дверь, как порывом ветра задуло фонарь, и они очутились в темноте. Снег валил хлопьями. Огоньки в избах чуть-чуть брезжили сквозь метель. Иван пошёл вперёд, ощупывая палкой дорогу; Анна Михайловна — за ним. Идти было трудно: дорогу замело, и они беспрестанно проваливались в глубокий, рыхлый снег.

Наконец кое-как добрались до Федосьиной избышки и постучались. Им отворила сама Федосья, удивлённая и испуганная.

— А Малыш где? — спросила Анна Михайловна, вбегая в избу и оглядываясь.

— Малыш? — сказала Федосья, побледнев. — Да он, как вчерась в школу ушёл, с той поры и не приходил...

Анна Михайловна от ужаса не могла слова выговорить и без сил опустилась на лавку. Федосья глядела на неё во все глаза и бледнела всё больше



*Жучка побежала за Малышом, и оба исчезли в вихре
белых снежинок...*

и больше. Вдруг она всё поняла, ударилась головой о стол и зарыдала. Дети, гревшиеся на печи, тоже подняли крик.

Анна Михайловна опомнилась.

— Что же теперь делать? — проговорила она, вся дрожа как в лихорадке. — Иван, пойдём соберём соседей. Искать надо...

Иван побежал к соседям. Никто ещё не спал, и в Федосьину избу стал собираться народ. Все охали, жалели Малыша, утешали Федосью. Но она, обезумев от горя, не слушала никаких утешений и, бросаясь от одного к другому, падала на колени и причитала:

— Родименькие!.. Голубчики!.. Пожалейте вы меня, бедную... Сыночек... Федюнька... один ведь у меня он... Отыщите вы его... Батюшки мои!

— Да где же его теперь найдёшь? — сказал кто-то. — Ишь ведь метёт, зги не видно... Свалился небось где-нибудь в овраге и застыл — много ли ему нужно? Никак невозможно найти.

Анна Михайловна заплакала, а Федосья за-
мертво упала на пол.

Соседи бросились брызгать на неё водой, а мужики стояли, столпившись у дверей, и мрачно смотрели на несчастную женщину.

— Жалко Малыша!.. Пропал малый... Эдакая вьюга! Большой и то собьётся с дороги, — перешёптывались они.

Вдруг в избу, весь заметённый снегом, запыхавшись, вбежал мальчик лет четырнадцати, сын соседа Федосьи, и взволнованно сказал:

— На гумнах собака какая-то воет... Так и воет, так и воет... Страсть!

— Какая собака? Чего ты врешь? — услышались голоса.

— Право, воет... Я уж давно слышал, да думал — это волк... А она всё воет. Как ветром с гумна подует, так и слышно...

— Постой, да не Жучка ли это? — крикнул кто-то радостно.

— Может, Жучка... Ведь она с ним была!

— Это Жучка, Жучка! — заговорила Анна Михайловна, вскакивая. — Пойдёмте, пойдёмте скорее! Жучка! Она с ним ушла... Пойдёмте!..

Народ гурьбой повалил из избы. Мужики взяли лопаты, заступы, фонари.

А вьюга всё свирепела. Снег слепил глаза, ветер заглушал голоса.

Выйдя на улицу, все прислушались. Ничего.

— Сенька, где собака-то воет? Ничего не слышно...

— Право, выла... — уверял Сенька, вертя головой во все стороны. — Вы постойте, слушайте. Стой! Вон она... вон она...

Все замерли. И действительно, сквозь завывания ветра со стороны гумна до них донёсся вой, жалобный, протяжный и печальный.

— Ребята, идём! — скомандовал Иван.

И все пошли по направлению воя.

Шли очень долго. Ноги вязли в снегу, иногда кто-нибудь падал; фонари задувало ветром. Вой иногда слышался как будто совсем где-то близко, а иногда его относил ветром в сторону, и тогда все останавливались и прислушивались, чтобы не сбиться. Но вот надвинулось что-то огромное, тёмное... Это была скирда хлеба... И вой раздался совсем-совсем близко...

— А ведь, никак, и вправду это Жучка! — сказал кто-то радостно. — Стой, ребята!.. Слушай...

Все остановились. С минуту всё было тихо, слышалось только тяжёлое дыхание людей... И потом опять жалобный и протяжный вой.

— Жучка, Жучка! — закричала Анна Михайловна.

Вой прекратился. От скирды отделился какой-то тёмный комок и с визгом бросился к людям. Дейст-

вительно, это была она, лохматая, неказистая Жучка. Она кидалась то к одному, то к другому, визжала, лизала всем руки и опять возвращалась к скирде. Народ рассыпался вокруг скирды и начал обшаривать её.

— Здесь... Нашёл! — послышался звонкий голос Сеньки.

Все бросились на его крик и начали лопатами и руками разгребать снежный холмик, который вьюга уже успела насыпать над Малышом. Жучка с визгом и лаем помогала людям лапами и мордой. Наконец Малыша отрыли. Мальчик сидел, прислонившись спиной к скирде, и спал мёртвым сном, крепко прижав к груди закоченевшие руки...

Его подняли и понесли. Федосья уже ждала их на пороге и с криком бросилась навстречу.

— Постой! — остановил её Иван. — Его оттирать надо... Может, ещё жив. Раздевай его, ребята!

Малыша положили в сених на соломе, раздели и стали оттирать снегом. Особенно старался Иван; пот с него так и катился градом.

Вдруг он остановился, с улыбкой поглядел вокруг себя и произнёс:

— Отходит... Тёплый стал... и руки разгибаются.

Все окружили Малыша. Федосья заплакала.

— Ну, чего же ты плачешь? — добродушно сказал Иван. — Радоваться надо, а ты воешь. Неси-ка лучше шубу...

Федосья побежала за шубой. Услышав, что Малыш оживает, сестрёнки его подняли крик и выскочили в сени. Между тем Малыш вздохнул — и раз, и другой, и третий... Жучка подняла визг и бросилась его лизать. А Малыш вздохнул ещё раз и, открыв глаза, с удивлением осмотрелся, не понимая, где он и что с ним. Но, увидев плачущую мать, он вдруг улыбнулся, попробовал подняться и едва слышно прошептал: «Мамушка... не плачь... я тебе хлебца... горяченького...»

ВОЛЧОНОК

I

Ганька совсем не помнила того времени, когда у неё померли отец и мать, зато очень хорошо помнила, что с самых ранних лет жила у дяденьки Петровича и жила очень плохо. Дяденька Петрович был самый бедный мужик в селе, и в его старенькой избушке-развалюшке всегда было и темно, и тесно, и холодно. Зимой избушку до крыши заносило снегом; во время дождя она протекала, а летом в неё никогда не заглядывало весёлое, золотое солнышко. Так и жили все кучкой, в потёмках, точно мыши в норке.

Своих детей у дяденьки было пятеро, мал мала меньше, да Ганька была шестая, и всех надо было накормить, напоить, обусть, одеть, обо всех подумать да позаботиться. От этих забот дяденька раньше времени согнулся, постарел, говорил мало и почти никогда не смеялся, а его жена, тётенька Прасковья, была сердитая и постоянно на всех ворчала. Особенно доставалось Ганьке.

— Вот наказанье-то! — часто говорила тётенька. — И своим-то детям хлебушка не хватает, а тут ещё чужую корми.

Дяденька смирный был, ссориться не любил, но за Ганьку всегда заступался.

— Ну что ты, Прасковья, на неё взъелась, —

потихоньку укорял он жену. — Неладно сироту обижать, да ведь и не чужая она — твоей же сестрицы дочка. Ты бы подумала, куда девчонке деваться, если и мы от неё откажемся.

— А что на неё смотреть? — кричала тётенька Прасковья. — Она уже большая, девятый годок, сама себе может пропитание промыслить. Вот надеть ей суму на плеча, и пускай по окошкам идёт кусочки собирать. Всё-таки нашим детям лишний ломоть останется.

При этих словах Прасковьины ребятишки начинали прыгать вокруг Ганьки на одной ножке, хлопали в ладоши и дразнили её:

— Ганька-побирушка, Ганька-побирушка, иди, Ганька, под окошки за корочками, за обглодочками!..

Дяденька Петрович махал рукой и уходил из избы, а Ганька забивалась в угол и исподлобья сверкала на всех своими большими чёрными глазами.

Плохо было ей жить!

Когда садились обедать и дяденька Петрович резал хлеб, Прасковья всем своим детям, даже маленькому Алёшке, давала по целому ломтю, а Ганьке только половинку. Если варили картошку, было то же самое: ребятишки получали по три, Ганька — одну. Поэтому Ганька постоянно была голодна и жадно смотрела на чужие куски. А ребятишки ещё поддразнивали её:

— А что, Ганька, съела? У тебя-то одна картошка, а у нас по три!

Ганька молчала, но, улучив минутку, когда Прасковья стходила от стола, она ошетиливалась, точно разозлённый зверёк, вырывала у кого-нибудь недоеденную картошку и поспешно запихивала её себе в рот. Начинался крик и плач.

— Маменька!.. Ганька у меня картошку отняла! Отдай мою картошку!

Прасковья больно щёлкала Ганьку ложкой по лбу и выгоняла её из-за стола.

— У, ненасытная эдакая! Мало тебе, что дают, надо ещё у других отнимать. Вот и посиди без обеда: корки сухой не дам, покуда в ножки не поклонись.

Но Ганька, вместо того чтобы кланяться в ножки, высовывала тётеньке язык и убегала на огороды, где и пропадала до ночи, обиженная и голодная.

— Хоть бы девочка-то была хорошая! — жаловалась Прасковья соседкам. — А то ведь прямо какой-то волчонок растёт. Ты ей дело говоришь, а она уставится на тебя глазищами и молчит. А глазища-то большущие да чёрные, так и светятся, словно угли!.. И в кого только эдакое дитяtko уродилось?

По примеру Прасковьи и все соседи стали называть Ганьку Волчком. Стоило ей показаться на улице, сейчас же со всех дворов сбегались ребяташки, толкали её, щипали, дёргали за юбочку и вопили на разные голоса:

— Волчонок! Волчонок!

Ганька терпела и отмалчивалась, потом ей это надоедало, она схватывала хворостину и бросалась на обидчиков.

— Ай, ай, укусит! — нарочно визжали шалуны и разбегались во все стороны.

На крик выходили их матери и жаловались Прасковье:

— Уйми ты своего Волчка, житья от ней никому нету! Гоняется за всеми с хворостиной, ребятам со двора нельзя выйти.

— А что я с ней поделаю? Вот наказание-то! — причитала тётенька Прасковья. — Ганька, брось хворостину, иди в избу скорей. Долго ли я с тобой буду маяться?

Ганька знала, что в избе ничего хорошего для неё не будет, и не шла. Босая, грязная, в линю-

чем дырявом сарафанчике, с нечёсаными кудрявыми волосами, она молча стояла, прижавшись к плетню, и в это время действительно была похожа на бедного затравленного волчонка в тёмном лесу.

II

Один только маленький человечек никогда не обижал и не дразнил Ганьку. Это был младший сынишка Прасковьи — Алёшка. Ему шёл уже второй год, а он не умел ещё ни ходить, ни говорить, потому что от плохой еды у него были кривые ножки, и зубы совсем не росли. Несмотря на это, Алёшка был всегда весел, плакал очень редко и никому не надоедал. Посадят его в люльку, скажут: «Сиди!» — так он и сидит целый день, пуская ртом пузыри и разговаривая сам с собою на непонятном языке. Изредка подойдёт Прасковья, переменит ему пелёночки, сунет в руку картошку или корку хлеба и опять уйдёт по своим делам. Прибегут с улицы ребятишки, заглянут к Алёшке в люльку, попрыгают, попищат около него — и тоже поминай как звали. А Алёшка и этому рад: разинет свой беззубый ротик, захлопает в ладошки и примется сосать картошку с таким удовольствием, точно это шоколадная конфетка с начинкой.

Ганька часто смотрела на него из своего угла, и жалко ей было маленького кривоногого Алёшку. Ни бегать он не может, ни говорить. — всё один да один, скучно ему, должно быть! И вот понемножку у Ганьки завязалась с Алёшкой тихая, тайная дружба. При всех она боялась к нему подходить — еще заругают, пожалуй, или засмеют! Но как только дядя и тётка куда-нибудь уходили из избы, а ребята закатывались на улицу играть, Ганька тихонько подкрадывалась к люльке, и начиналось у них с Алёшкой веселье.



*Ганька... в это время действительно была похожа на бедного
затравленного волчка...*

— Алёшка, а Алёшка! — быстро шептала Ганька. — Где у тебя ручки?

— Угу! — отвечал Алёшка и протягивал к ней свои тоненькие, замусоленные ручонки с куском недоеденной картошки.

— Ох, какие маленькие да хорошенькие! А ножки есть?

— Му! — говорил Алёшка и подымал кривую ножку.

Потом он показывал, где у него глазки, носик, головка; представлял, как мычит корова, как собачка лает; наконец, делал страшное лицо и притворялся, что он волк и хочет Ганьку съесть. Ганька пряталась под люльку, нарочно кричала: «Ай, боюсь, боюсь!» — и оба заливались счастливым смехом.

В сенях хлопала дверь, входила тётенька Прасковья, и Ганька поспешно скрывалась на печь. Алёшка был этим недоволен. Алёшке хотелось играть, он морщился, тянулся к Ганьке и плаксиво тянул:

— Тю! Тю!

— Вот я тебе дам «тю»! — сердито говорила Прасковья. — Ну, чего ты разорался? Чего тебе надо? Может, хлебца хочешь? На тебе хлебца!..

Алёшка хлебца не хотел. Он отталкивал мать, брыкался руками и ногами, потом опрокидывался навзничь и принимался реветь.

— И что с тобой сделалось? — удивлялась Прасковья. — Ганька, уж не ты ли его раздрадила, Волчонок лупоглазый? Да что же это за разбойница растёт мне на погибель! Ты её поишь, ты её кормишь, а она только и норовит что-нибудь напроказить. Ну! Чего же ты молчишь, как рыба немая?

Ганька никогда не оправдывалась. Она уже знала: сколько ни говори, всё равно ей не поверят. Ещё когда совсем маленькая была, дядины ребя-

тишки все свои шалости на неё валили. Сами разобьют горшок, а скажут: Ганька! Стащат у матери ломоть хлеба — опять Ганька! И Прасковья всегда верила им больше, чем ей, а если Ганька пробовала оправдываться, ей же за это доставалось. Ну и пусть теперь говорят что хотят, Ганька будет молчать. И, сидя на печи, как «немая рыба», она исподтишка делала смешные гримасы плачущему Алёшке, чтобы развеселить его и успокоить.

Дружба их росла с каждым днём, и Алёшка привязывался к Ганьке всё больше и больше. Если её не было в избе, он скучал, старался вылезть из люльки и просился на пол. Очутившись на полу, малыш становился на четвереньки и с проворством маленькой обезьянки пускался в путь.

— Тю! Тю! — звал он, заглядывая под лавки, под печку и во все углы.

Прасковья никак не могла понять, что ему нужно. Давала хлеба, картошку, клубки ниток поиграть, Алёшка не хотел ничего и продолжал ползать по избе, призывая таинственного «Тю!».

— Да это он, должно быть, кошку зовёт! — догадывались ребяташки.

Приносили ему кошку. Алёшка сердито мотал головой, запуская в кошку клубком и требовал, чтобы его опять посадили в люльку. Но когда в сенях слышалось знакомое шлёпанье босых ног и в дверях показывалась косматая Ганькина голова, Алёшка весь расцветал и всячески старался выказать свою радость. Хохотал, раздувал щёки, подпрыгивал, а ребяташки, не понимая, чему он радуется, кричали Ганьке:

— Волчонок, смотри-ка, Алёшка и то над тобой смеётся!

За обедом Алёшка непременно переползал поближе к Ганьке, смотрел на неё во все глаза, и, как только она съедала свою половину ломтя, он совал ей в рот обмусоленные кусочки.

— Тю-ка, на!

Ганька всегда была голодна и с благодарностью доедала Алёшкины обкуски. Прасковье это не нравилось.

— Ты что же это ребёнка-то объедаешь? — сказала она однажды. — Рада, что глуп, и тянешь у него из горла. У меня хлеба-то на вас не горы наготовлены, а ты тут будешь ещё за двоих есть. Не смей у меня Алёшкины куски таскать!

— Я не таскаю, он сам мне даёт! — угрюмо сказала Ганька и положила назад обгрызенную корку.

Алёшка удивился. Большими глазами посмотрел сначала на мать, потом на Ганьку, взял корку и опять ткнул её в рот своей приятельнице.

— Тю-ка, на! — серьёзно и настойчиво повторил он.

Прасковья рассердилась. Выхватила у Алёшки кусок, пересадила ребёнка на другое место, а Ганьке дала шелчка.

Ребятишки подняли смех.

— А что, Ганька, скушала? Вот тебе и сладенькие Алёшкины корочки!

Алёшка вдруг весь затрясся, выхватил у матери большую ложку и бросил её в старшего братишку Ваньку, который больше всех смеялся.

— Бя, бя, дука! — закричал он сердито и, вцепившись в Ганьку, заревел во всё горло. Ганька тоже заплакала.

— Эх, Прасковья! — сказал дяденька Петрович. — Тут и так горе, а вы ещё ссоритесь! А чего вам делить? Есть хлебушко — все сыты будем, а нету — всё равно ссорой делу не поможешь. — Он вылез из-за стола, не дообедавши, и вышел.

Прасковья вся побелела от досады, собрала все корки со стола и швырнула их Ганьке.

— Всё из-за тебя, Волчонок косматый! И зачем ты на нашу голову навязалась? Ну, на́ вот, ешь,

коли тебе мало, доедай последнее, а мы уж, так и быть, с голоду помирать будем...

Ганька ещё горчей заплакала и спряталась на печь. Ребятишки присмирели и, один по одному, тихонько убрались из избы. Прасковья посадила ревущего Алёшку в люльку и стала убирать со стола. Горшки так и гремели у неё в руках. В маленькой тёмной избёнке стало как будто ещё темней и тесней. Холодный зимний ветер жалобно завывал в трубе.

— Матушки мои, и что же это за жизнь моя несчастная! — сама с собою разговаривала Прасковья. — Всех накорми, за всеми прибери, да ещё из-за всякой косматой девчонки попрёки слушай! Она небось меня не пожалеет, не родная дочка, ей бы только наесться досыта — да на печь. А у меня какая радость? Вот сейчас — собирай тряпье да на речку полоскать иди. Покуда перемоешь — измёрзнешь вся, а придёшь домой — в избе-то холодно да голодно, того не хватает, этого не хватает, поневоле куски станешь считать. Да стала бы я их жалеть, кабы у меня хлеба вволю было! Да хоть объешься! Эх ты, жизнь моя горькая, и когда уж ей конец будет?

Ветер всё выл в трубе, плакал Алёшка, Прасковья причитала. И Ганька призадумалась. Жалко ей стало тётеньку Прасковью; хотелось, чтобы всем было хорошо, сыто и весело, чтобы не мёрзла на речке тётенька Прасковья и хоть разочек улыбнулся дяденька Петрович.

«Не буду больше Алёшкины корочки есть! — думала она. — И сердчать на тётеньку не буду. Они думают — я злющая, Волчонком меня дразнят, а я вот возьму да и перестану на ребят огрызаться. И хлеб свой, который дадут, Алёшке и ребятам отдам. Пускай едят, а я и так посижу...»

Она забыла все свои обиды, слезла с печи и тихонько подошла к тётке.

— Тётенька, а тётенька!.. — робко позвала она.

Прасковья обернулась, лицо у неё опять стало тёмное и сердитое.

— Что «тётенька»? Чего ещё тебе надо?

Ганька сразу забыла все хорошие слова, которые хотела сказать, и ещё больше оробела.

— Алёшка-то всё плачет... — прошептала она. — Дай, тётенька, я бы его, может, понянчила...

— А вот я тебе понянчу Алёшку, злючка глаза-застая! — закричала Прасковья. — Кусочки последнее у ребёнка отымаешь да ещё хочешь голову ему оторвать. Пошла, пошла с глаз моих долой, волчиха косматая, видеть я тебя не хочу!..

Ганька вся задрожала, кинулась на печь и опять стала злым, косматым Волчонком.

— Ну хорошо же! — шептала она, сжимая кулаки и кому-то грозясь. — Если так, то вот же и буду злючка! И не люблю вас всех, и любить не хочу... только Алёшку жалко да дяденьку Петровича жалко, а вы все хоть пропадите, никого не люблю!..

III

После этого Прасковья долго сердилась и ни с кем не говорила; даже любимец её, избалованный Ванька, боялся к ней подходить. Но дня через три она куда-то ушла, вернулась весёлая и сказала Петровичу:

— А я, Петрович, к учителю нанялась бельё стирать. Тридцать копеек в день, да чай, да сахар, и пообедаю там. Всё-таки ребятишкам годится. Вот сейчас приберусь в избе, покормлю вас да и уйду до вечера.

— А с Алёшкой кто останется? — спросил Петрович.

— Ну, Алёшка у нас малый смирный, он и так целый день один сидит. А то Ганька присмотрит!

Она уже большая: пора ей к делу приучаться. Может, баловаться поменьше будет.

— Ну что ж, — сказал Петрович.

Ганьки в это время не было в избе, она ничего не знала и очень испугалась, когда после обеда, убравшись с посудой, тётенька позвала её с печки.

— Ганька, поди-ка сюда!

«Ну, опять ругань будет», — подумала Ганька и, нахмуренная, взъерошенная, точно ёжик из норки, слезла на пол.

Прасковья взглянула на девочку, и жалко ей стало Ганьку. Такая она была худенькая и заброшенная в своих лохмотьях, с немытою, нечёсанною головой.

— Ну, слушай, Ганька, — сказала она так ласково, как никогда ещё с Ганькой не говорила. — Вот я уйду сейчас, а ты тут посиди с Алёшкой. Коли спать захочет, покачай его, а проснётся, гляди, как бы из люльки не выскочил да не расшибся.

Ганька не верила своим ушам и угрюмо покосилась на тётеньку — не шутит ли? То сама к Алёшке её не подпускала, а то велит нянчить... Может, нарочно дразнит, чтобы посмеяться!

Ганькино молчание и взгляд исподлобья опять рассердили Прасковью.

— Да ты что же на меня косишься-то, как зверюга лесная? — сказала она с досадой. — Ей добром говорят, а она и знать ничего не хочет. Нет, видно, как волка ни корми, он всё в лес глядит. Слышишь, что я тебе сказала? Посиди с Алёшкой, покуда меня дома нет, да смотри не ушиби его, а то я тебе задам! Есть попросит, дай ему каши, горшок в печке стоит, да сама-то не ешь, а то я тебя знаю — ему ложку, а себе две. Слыхала?

— Слыхала... — недоверчиво прошептала Ганька.

— Ну, вот и старайся! Будет хлеб-то даром

есть, не маленькая. А я тебе за труды сарафанчик новый куплю... — прибавила она поласковее и ушла.

Оставшись одна, Ганька долго не знала, что ей делать. А ну как это всё нарочно, и тётенька спряталась за дверью, чтобы её поймать, когда она будет играть с Алёшкой. Вдруг войдёт, заругается и прогонит её на печку. Ганька шмыгнула к двери, отворила её, заглянула в сени... Никого! Неужто правда? Она засмеялась и подбежала к люльке. Алёшка проснулся и потянулся к ней ручонками.

— Тю-ка ма! — сказал он, глядя её по лицу.

— Твоя, твоя тюка! — радостно шепнула ему Ганька. — Слыхал, что тётенька-то сказала? Нянить тебя велела!..

Она выхватила Алёшку из люльки и заплясала с ним по избе, распевая его любимую песенку:

А чу-чу, а чу-чу.
Я горошек молочу
На чужом точку,
На прилепочку!..

Немного погодя прибежали с улицы ребяташки — все в снегу, холодные с морозу да румяные, и очень удивились, что Волчонок держит Алёшку на коленях и кормит его горячей пшённой кашей. Прасковьяин любимец Ванька сейчас же налетел на Ганьку и закричал хозяйским голосом:

— Ты как это смеешь без мамки Алёшку брать?

— Мне сама тётенька велела, — важно отвечала Ганька. — А ты отойди, чего с морозу-то лезешь! Застудишь мне Алёшку — небось я отвечать-то буду... Кушай, Алёшка, кушай, не гляди на них, на озорников.

И, зацепив из горшка полную ложку каши, она



Ганька выхватила Алёшку из люльки и заплясала с ним по избе...

добросовестно отправляла её в разинутый Алёшкин рот.

Для них с Алёшкой началось счастливое житьё. Теперь Ганьке уже не нужно было выжидать, когда все уйдут из избы, чтобы поиграть с Алёшкой. Теперь она могла при всех брать его на руки, кормить, забавлять, укачивать, когда ему хотелось спать. Целый день около люльки шла весёлая возня, слышался смех и шёпот. Ганька то мастерила из тряпочек каких-то безобразных куклёнков, то приносила со двора щепочки, камешки и строила из них смешные избушки на курьих ножках. Иногда и ребятишки принимали участие в их забавах: им любопытно было посмотреть, что такое делают Волчонок с Алёшкой, и отчего им так весело вдвоём. Но Ганька этого не любила: ребятишки, привыкшие к шумным уличным играм, не умели сидеть тихо и всегда им мешали, а Ванька даже нарочно, чтобы раздражить Волчонка, рвал на клочки её куклы и раскидывал щепочные домики. Тогда Ганька, сверкая глазами, бросалась на Ваньку отнимать у него свои сокровища, поднимался шум, крик, Алёшка с плачем заступался за «Тюку», а Прасковья, не понимая, в чём дело, сердилась на Ганьку.

— Ганька, да что ты его не уймёшь, постылая? Что он у тебя кричит?

— Это, тётенька, Ванька его раздражил... — со слезами шептала Ганька, подбирая с полу остатки кукол.

— Врёт, мамка, врёт! — возражал Ванька. — Она сама дерётся — подойти к ней нельзя. Мы Алёшку не трогали, мы только её чучелы хотели посмотреть.

— Ах ты, родимые мои, наказание мне с этой девчонкой! Говорила я вам, не связывайтесь вы с ней. Ну, погоди ты у меня, Волчонок: обещала я тебе сарафан новый сшить, ни за что теперь не сошью.

Ганька молчала. Она больше всего боялась, как бы у неё Алёшку-то не отняли, а сарафан пускай хоть и не шьют. Она уже привыкла ходить в лохмотьях.

IV

Наступила весна, и буйные мальчишки перестали надоедать Ганьке. Им было не до неё: с утра до ночи они пропадали на улице, ловили рыбу на речке, за большими мужиками увязывались в поле. Прасковья тоже стала добрее: она видела, что Ганька с охотой нянчит Алёшку, и была довольна, — всё-таки не даром девчонка хлеб ест. И на Ганькину долю теперь уже не так часто выпадали шлепки и пощёлки.

Каждый день после завтрака она брала Алёшку на руки, запихивала за пазуху ломоть хлеба, посыпанный солью, и уходила куда-нибудь подальше на огороды. Там у неё в лопухах было любимое местечко. Она вырыла в земле ямку, застлала её травой, наломала с ветлы веток и устроила над ямой крышу. Это была у неё, нарочно, избушка. И вот забирались они с Алёшкой в свою избушку, ложились на мягкую душистую траву и отдыхали от длинной, злой и холодной зимы. Хорошо было глядеть, как горячее солнышко весело играет на небе; хорошо слушать, как шумит трава, поют кузнечики, пчёлы жужжат над розовой и белой кашкой. Никто не ругается, никто не дразнит, хочешь — лежи, хочешь — бегай, хочешь — разговаривай, да не шёпотом, а во весь голос, потому что подслушать некому и смеяться некому.

— Слушай, Алёшка, что я тебе скажу, — говорила Ганька. — Ты ведь меня любишь?

— Бу! — отвечал Алёшка и нежно гладил её по лицу тощими лапками.

— То-то! А когда меня обижать будут, ты что сделаешь?

Алёшка надувался, делал страшное лицо и, схватив с земли прутик, грозно размахивал им по воздуху. Ганька умирала со смеху.

Здесь она была совсем не такая, как дома. Ей не сиделось на месте: то она вскочит и запрыгает на одной ножке, то песни поёт, то ещё что-нибудь придумает. На огороде было чем позабавиться, только смотри во все глаза да примечай.

Вот ползёт по лопуху смиренная божья коровка — красненькая, с чёрными пятнышками; ползёт себе куда-то и шевелит тоненькими усиками, точно обнюхивает дорогу. Осторожно подкрадётся к ней Ганька, посадит на ладонь, несёт к Алёшке.

— Смотри, Алёшка, — скоморох! Хочешь, сейчас полетит далеко-далеко!

Алёшка нетерпеливо хлопает в ладошки и бормочет:

— Ну, ну!..

— Тише, тише, — таинственно шепчет Ганька и начинает тихонько напевать:

Скоморох, скоморох,
Ты лети на мой горох,
Там раков едят,
Тебе ножку дадут!

Божья коровка расправляла крылышки, — сначала жёсткие красные, потом нижние, беленькие, точно кисейные, и с тихим жужжаньем улетала.

Алёшка, разинув рот, провожал её глазами.

— Тю-тю? — спрашивал он Ганьку.

— Тю-тю! — смеяась, отвечала Ганька. — Полетел раков есть!

А вот вдруг выскакивает, откуда ни возьмись, огромный зелёный кузнечик. Он вовсе не ожидал, что встретит в лопухах двух маленьких человек-

ков, вытаращил со страху глазищи, присел на задние лапки, смотрит. Ганька грозит Алёшке пальцем, чтоб не шумел, и ловко накрывает кузнечика ладонью.

— Тут! Попался! — радостно восклицает она. — Вот смотри, что он сейчас делать будет. Только его трогать не надо, а то ножку ему сломаешь, хроменький будет. Жалко!

Она раскрывает сжатую руку и, бережно придерживая кузнеца за крылышки, показывает Алёшке. Кузнец недоволен своим положением. Он кивает головой, точно кланяется, и передней лапкой трёт себя по лбу.

— Смотри! Смотри! — в восторге кричит Ганька.

Но кузнец задумался. На Ганькиной ладони ему тепло и мягко, и он, должно быть, понимает, что маленькие человечки не хотят сделать ему ничего дурного. Тогда Ганька легонько щекотала его по спинке и приговаривала:

— Кузнец, кузнец, дай дёгтю! Кузнец, кузнец, дай дёгтю!

Кузнец выпускал из себя капельку бурого сока, и Ганька давала ему волю. Один огромный прыжок — и кузнечик уже у Алёшки на шлыке¹. Другой прыжок — и кузнеца поминай как звали!..

— Прощай, кузнец! — кричит Ганька. — Приходи к нам ещё.

Ей в ответ из лопухов слышится громкое, радостное стрекотанье. Что там ни говори, в гостях хорошо, а дома лучше!

— Теперь небось он своей мамке, где был, рассказывает! — задумчиво говорила Ганька. — А мамка рада... небось не наглядится на него, посадила с собой рядом и кашей кормит. «Ешь, скажет, сыночек, да не ходи далеко, а то пропадёшь, я плакать буду». Эх, Алёшка, хорошо тому жить, у кого мамка есть!

¹ Шлык — здесь: шапочка, чепец.

И, вспомнив, что Алёшка, может быть, проголодался, она доставала из-за пазухи ломоть хлеба и озабоченно совала его своему питомцу.

— На, покушай, Алёшка, а то отощaeшь, тётенька ругаться будет!

Они по-братски делили ломоть пополам, закусывая его кислым щавелем и ещё какой-то вкусной травкой, которую Ганька называла «горчичкой». Потом она набирала в траве золотых одуванчиков и лилового мышиного горошка, плела венки и, сняв с Алёшки безобразный шлык, сшитый из разноцветных тряпок, украшала белую головку цветами. В этом пышном венке Алёшка важно выглядывал из лопухов, точно маленький травяной царёк, для которого и цветы цвели, и мохнатые пчёлки жужжали, и трещали в свои трещотки зелёные голосистые кузнецы...

А жаркое солнце уже высоко поднималось в небе, и тётенька Прасковья давно скликала своих птенцов к обеду. Услышав её голос, Ганька вздрагивала, хватала Алёшку на руки и рысью мчалась домой.

— И где это ты пропадаешь, Ганька? — ворчала Прасковья. — Звала-звала, бегала-бегала, обед давно на столе, а ты хоть бы голос подала... Куда это тебя носило?

— Я, тётенька, здесь была, на задворках...

— А есть мне время тебя по задворкам искать? Зачем туда ходишь? Сидела бы на улице, на заваulinke, а то пропадёт, ищи её, как иголку в соломе. Кабы ты одна была, я бы искать не стала, шатайся хоть до полуночи, а мне пуще всего Алёшку жалко, — затащишь его, мало ли какое несчастье может случиться.

— Я, тётенька, за Алёшкой в оба глаза смотрю!

— Ладно, в оба глаза, знаю я тебя. Что, сынок, уморился небось не евши? Подь сюда, я тебе кашки дам!

Прасковья протягивала к Алёшке руки, но он не шёл, брыкался и, прижимаясь к Ганьке, лепетал:

— Бу, Тюку, бу!..

— Ишь ты какой! — удивлялась мать. — Уж и меня не признаёт. А всё ты, Ганька, — сама Волчонок, и Алёшку мне волчонком вырастишь!

Однако Алёшка был такой румяный и так весело на всех посматривал, что Прасковья смягчалась и ласково говорила Ганьке:

— Ну, ешь садись, некогда мне тут с вами возиться! Солнце-то вон оно где, а у меня дела ещё и до завтра не переделаешь.

Ест Ганька, а сама только об одном и думает, как бы поскорей из избы вырваться. Всё ворчит, всё ворчит тётенька Прасковья, никогда на неё не угодишь, а тут ещё Ванька ногой под столом толкает... Торопливо дохлебав крапивные щи, она первая вылезает из-за стола и ждёт, когда тётенька покормит Алёшку. Ему, должно быть, тоже скучно в избе: он мотает головой, отворачивается от каши и тянется к Ганьке.

— Тётенька, он не хочет... — робко говорит она. — Давай его мне!

— Ну ладно, бери уж, да смотри не урони да не расшиби, загубишь мне ребёнка, и на глаза тогда не кажись...

Ганька уже не слушает: давно ей все эти слова известны, — каждый день долбят. Крепко прижимает она к себе Алёшку и вихрем вылетает из избы. А там опять зелёные лопухи, скоморохи, кузнечики усатые, все травяные друзья-приятели...

Стояла страшная жара и сушь, но в Ганькиной избушке было свежо и прохладно. После обеда Алёшка крепко заснул, а Ганька сидела около него и наряжала большую куклу, которую сшила из старой Алёшкиной рубашки. Кукла вышла хоть куда! Ганька нарисовала ей углем глаза и нос, волосы сделала из пакли, а вместо платья обернула лопухом, подпоясала повиликой и надела на голову жёлтенький веночек из цветов дикой редьки. Поглядела и сама засмеялась: вот уж настоящая курносая Матрёшка! Один глаз — выше, другой — ниже, нос — на сторону, а рта и совсем нет. Ну ничего, сойдёт; зато Алёшка-то обрадуется, когда проснётся!

— Ну, садись теперь и сиди смирно! — сказала Ганька, когда кукла была готова. — Ах ты курносая эдакая, и глядеть-то на тебя чудно! Сарафан-то у тебя худой, да ведь где ж его хороший возьмёшь, у меня у самой нету. Кабы мамка у нас была, она бы сшила — мне из красного кумача, а тебе кубовый с цветочками. А от тётеньки Прасковьи не жди, она и так говорит: «На вас не наготовишься!»

Вдруг ей почудилось, что в кустах что-то зашуршало. Уж не свинья ли соседская забралась? Ганька выглянула из-под навеса, прислушалась... Никого нету... только лопухи качаются. Ветер, должно быть, прошумел.

— И вправду, кто сюда полезет? — вслух подумала Ганька. — Большие все в поле, а ребята с утра до ночи на речке купаются. Я бы и сама на речку пошла, кабы мальчишки не трогали. Да я с ними и водиться-то не хочу, разбойники они все. Слышь, Матрёшка, и ты не ходи на улицу! Все волосья тебе оборвут. Ах ты курносая!

Матрёшка глупо смотрела на Ганьку своими раскосыми глазами; сладко посапывал во сне



Ганька... вырвала куклу и побежала куда глаза глядят.

Алёшка. И вот опять лопухи закачались и зашумели, потом кто-то громко хихикнул... Ганьке стало страшно. Ох, не Ванька ли озорник что-нибудь затеял. Давно уже ребята её не дразнили, соскучились...

И только что она об этом подумала, в лопухах послышался вой, визг, хохот, и целая гурьба ребятшек выскочила оттуда. Ванька верхом на хворостине мчался впереди всех.

— Сюда, сюда, ребята! — кричал он. — Здесь она, вот, гляди! Ишь какую нору себе выкопала!

От шума проснулся Алёшка и заплакал. Ганька схватила его на руки и, бледная, с горящими глазами, вылезла из своего убежища.

— Вот, вот она! — радостно завизжали мальчишки. — Что, поймали? Теперь не убежишь!.. Дранный, рваный, Волчонок лохматый!

Они плясали и скакали вокруг неё, а Ванька залез в избушку и с хохотом вытащил из неё бедную Матрёшку.

— Ребята, глядите, какую она чучелу сделала. Вся в неё — чумазая. Расчешите ей волосья-то хорошенько!

И он бросил куклу в толпу. Матрёшка взвилась кверху и грузно шлёпнулась в лопухи, но шалуны подхватили её и начали, как мячиком, кидаться друг в друга.

Этого Ганька уже не могла вытерпеть. Жалко ей стало курносую Матрёшку, на которую она положила столько труда, и, бросившись на озорников, Ганька кого-то толкнула, кого-то сбила с ног, вырвала куклу и побежала куда глаза глядят.

— Убежала! Убежала!.. — завывали ребяташки. — Ловите её, держите! Она дерётся, ребята!.. Меня укусила... И меня... Вздуть её хорошенько! Вот мы тебе покажем, как драться, Волчиха зубастая!..

Ганька летела как ветер, с ревущим Алёшкой на одной руке, с Матрёшкой — в другой. А маль-

чишки уж настигают, вот-вот настигнут... Бегут справа, слева, забегают поперёк, кричат, машут руками. Совсем уже близко... Куда от них деваться?

И вдруг на всём бегу Ганьке показалось, что земля расступилась у неё под ногами, и она вместе с Алёшкой и Матрёшкой кувырком покатилась куда-то вниз.

Ребятишки остановились и с испугом переглянулись.

— Братцы, а ведь Волчиха-то, никак, в овраг загремела, — сказал один.

— Загнали Волчонка!.. — с сожалением прошептал другой. — Расшиблась небось... Овраг-то глубоководный!..

Третий осторожно подполз на животе к краю оврага, заглянул в его тёмную глубину, заросшую крапивой, и робко позвал:

— Ганька, а Ганька! Жива, что ль? Иди, не бось, мы не тронем! Мы только попугать хотели...

И все начали кричать:

— Ганька! Ганька! Иди, не бось! Вот тебе крест, не тронем!..

В овраге была тишина. Никто не отзывался. Ребятишки почувствовали раскаяние, им стало и страшно, и стыдно, и жалко Ганьку, и хотелось зареветь.

— А всё ты, Ванька! — набросились они на своего предводителя. — Зачем ты нас позвал Волчонка дразнить? Сидела в лопухах, никого не трогала, а ты: «Пойдём да пойдём!»... Вот тебе и пойдём!

— А кто первый закричал: «Держи её!» — возразил Ванька, сам весь дрожа от страха и раскаяния.

— Я не кричал «держи» — это Сенька закричал...

— Не ври, не ври, Митька закричал, а я уж за ним! — оправдывался Сенька.

— То-то за ним! Кабы не кричали, она бы и не побежала... Эх, вы!

— Жалко Ганьку! И Алёшку жалко... они

уби-и-лись! — захныкал вдруг самый маленький из всех и с плачем бросился бежать.

А за ним побежали и Ванька, и Сенька, и Митька, падая и толкаясь, точно за ними кто-то гнался.

VI

Ганька опомнилась уже на дне оврага. Она совсем почти не ушиблась, потому что упала прямо в крапиву, и только немного ободрала себе коленку, да лицо и руки у неё горели от крапивных ожогов. Она привстала и огляделась. «Батюшки, а где же Алёшка-то?» Сердце у неё замерло от страха.

— Алёшка, Алёшенька, где ты?

Совсем близёхонько от неё послышался слабый писк. Раздвигая руками жгучую крапиву, Ганька проползла несколько шагов и увидела Алёшку. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, и барахтался изо всех сил, стараясь подняться. Ганька схватила его на руки и стала целовать, обливая слезами.

— Жив, жив, Алёшенька, жив мой кривоногенький!..

Алёшка выплюнул землю, которая набилась ему в рот и мешала кричать, потом набрал в себя побольше воздуха и заревел уже как следует. В ту же минуту наверху послышались испуганные голоса ребятишек.

— Ш-ш... молчи, Алёша, не плачь, родименький!.. — зашептала Ганька. — Мальчишки идут... Услышат, что мы здесь, беда нам будет!

Алёшка сразу затих, и оба они притаились, крепко обнявшись и зажмурив глаза. Только сердца их громко стучали: тук, тук! Тук-тук!

— Ганька! Ганька! — кричали наверху.

Они молчали, не дыша и не шевелясь. Их позвали ещё раз, потом заспорили и зашумели. Кто-то заревел; послышался топот бегущих ног... и всё затихло...

— Ушли!.. — со вздохом сказала Ганька, и опять оба заплакали.

Плакали долго, покуда не покраснели носы и глаза так распухли, что больно было глядеть. Наплакавшись, Ганька стала осматривать Алёшку. Ручки и ножки были целы, зато всё тельце в белых волдырях от крапивы, а на лбу, над самым глазом, синела огромная шишка.

— Бо-бо! — жаловался Алёшка, всхлипывая и показывая на шишку.

— Что же я буду делать-то с тобой? — в ужасе шептала Ганька. — Как покажусь теперь к тё-теньке Прасковье? Прогонит она меня, совсем прогонит, не велит больше тебя нянчить... Алёшка, ох золотенький ты мой, как же я жить-то буду?..

Она зарыдала ещё громче, но Алёшка уже утешился, отыскал в траве растерзанную Матрёшку и тыкал её в лицо плачущей Ганьке.

— Тюка, ня! Ня! Кука-во! — весело лепетал он и косматой Матрёшкиной головой силился утереть горькие Ганькины слёзы.

Ганьке было уже не до Матрёшки. Пускай бы она себе пропадала, только бы прошла Алёшкина шишка. И она стала придумывать, как бы сделать так, чтобы шишку не было заметно. Дула и дышала на неё, прикладывала землю и подорожник, пробовала растирать ладонью, ничего не помогало. Шишка не только не уменьшалась, а раздулась ещё больше, так что на неё было страшно смотреть. Ганька совсем упала духом и решила идти домой. Больше нечего было делать...

Солнце уже садилось, коров пригнали с поля, и матери скликали ужинать своих загулявших ребят. Никогда ещё Ганька не приходила домой так поздно. Тихонько прокралась она в избу и молча стала у порога.

— Ты где это пропадала, а? — сердито сказала Прасковья, подкладывая щепок под горшок с кар-

тошкой. — Смотри, что выдумала: ночь на дворе, а её нету! Я тебе что приказывала? Позабыла? Не смей ребёнку по задворкам таскать! Слышишь или нет?..

Ганька молчала. Огонь весело разгорелся под таганом, в избе вкусно запахло варёной картошкой. Прасковья вытерла руки фартуком и подошла к Ганьке.

— У, неслух эдакий!.. Давай сюда Алёшку. Да куда же это ты шлык-то с него девала?

Ганька посмотрела на Алёшку и тут только вспомнила, что шлык остался в крапиве. Она поникла головой. Прасковья взяла у неё полусонного Алёшку и ахнула:

— Матушки мои, да что же это ты с ним сделала? Ах ты разбойница, ах ты отчаянная, ведь на ребёнке-то лица нету!..

— За мной мальчишки гнались... я в овраг упала... — прошептала Ганька.

Но Прасковья уже не слушала её оправданий и во весь голос причитала над Алёшкой. Потом посадила его в люльку и, подбежав к Ганьке, толкнула её к двери.

— Пошла отсюда куда хочешь, косматая! Волчонок ты, Волчонок и есть! Обещала за Алёшкой в оба глаза смотреть, а я-то сдуру и поверила... Вот тебе и в оба глаза, совсем изуродовала мне парнишку... Ступай, ступай с глаз моих долой, чтоб я тебя больше не видела!

Ганька с плачем выбежала из избы. В сенях она увидела Ваньку. Он стоял, притаившись за дверь, и молча смотрел на Ганьку.

— Что, рад небось? — сквозь слёзы сказала она... Поди погляди на Алёшку-то, что вы с ним сделали... А меня через вас прогнали... Ну и радуйся теперь, смейся!

Но Ванька и не думал радоваться. Он жалобно заморгал глазами и, когда Ганька выбежала из сеней, сам тихонько захлюпал носом.

Ганька и сама не помнила, как очутилась на огороде, у своего разорённого гнезда. Мальчишки затоптали лопухи, повыдергали ветки, а траву из ямки вытащили и раскидали. Ганька забралась в опустевшую ямку, уткнулась лицом в землю и стала плакать. Что-то Алёшка без неё делает? Небось все они теперь сидят за столом, едят горячую картошку, а про Ганьку и позабыли! Одна осталась, совсем одна на белом свете... Был Алёшка, и его у ней отняли. Кто же теперь будет его нянчить, кто ему песенку споёт, кто умоет и расчешет белые волосики?..

Ганька вспомнила, как они ещё сегодня веселились и играли с Алёшкой, как он ласкался к ней: «Бу, Тюку, бу!», и от горя чуть не захлебнулась слезами. Вдруг ей под руку попало что-то жёсткое, шершавое... Это была Матрёшка. Ганька и позабыла совсем, что всё время таскала её у себя за пазухой. Матрёшка тоже сильно пострадала от путешествия в овраг. Волосы стояли у неё дыбом, один глаз стёрся, другой смотрел на Ганьку жалостно и уныло. Платья из лопухов на ней давно уже не было, и вместо туловища торчали одни грязные тряпки. Но Ганька обрадовалась и крепко прижала к себе безобразную куклу. Ведь это был теперь единственный друг, который у неё остался.

— Что, Матрешка, и тебе влетело от мальчишек? — смеясь сквозь слёзы, сказала она. — Ах ты курносая! И волосья-то тебе повыщипали, и глаза повыкололи, совсем стала чучело гороховое! Озябла небось. Ну, постой, не реви, я тебя сейчас одену!..

Она завернула Матрёшку в лопухи, положила её рядом с собою и, пригревшись, заснула крепким сном.

Разбудили её какие-то странные и страшные крики. Спросонья показалось, что опять мальчишки пришли. Она вскочила, протёрла глаза и огляделась. На огороде было светло как днём, и по чёрному небу ходили красные облака. Что-то гудело и трещало, собаки выли, и торопливо, точно захлёбываясь, звонил церковный колокол: дон-дон-дон-дон!..

— Пожар!.. — закричала Ганька, вылезая из ямки. — Ой, батюшки, да, никак, это наши горят...

И, увидя прямо перед собой красный столб огня и дыма, она, сколько было мочи, помчалась домой.

Вся улица перед избой дяденьки Петровича была уже полна народу. Гремели телеги, на которых везли бочки с водой, толпились мужики с вёдрами и баграми, из соседних дворов выводили коров и лошадей, бабы выли и тащили на улицу сундуки, подушки, шубы. Полусонные и перепуганные ребятишки плакали, сидя на узлах.

Изда Петровича вся была в огне. Крыша пылала, как огромный костёр, из окон выскакивали красные языки и вместе с клубками удушливого дыма, треща, расплзались по стенам. Над избой висела тёмно-багровая туча, и в ней, точно блестящие испуганные бабочки, прыгали золотые искры.

Прасковья металась, ломала руки и кричала как безумная:

— Ой, батюшки, ой, родимые! Всё погорело, всё прахом пошло, насилу сами живые выскочили! И куда же мы теперь пойдём и чего есть-пить будем? Ничего у нас нету. Помогите, батюшки, помогите, родимые, не дайте малым детям пропасть с холоду да с голоду!..

Но никто не обращал внимания на её вопли, всякий думал о себе. Соседи спешили спасти своё добро: искры так и сыпались кругом, того и гляди, ещё чья-нибудь изба загорится. В жару и дыму

мужики стояли на крышах и непрерывно поливали их водой.

Ганька протолкалась сквозь толпу и подбежала к Прасковье.

— Тётяшка, а где же Алёшка-то? — задыхаясь, спросила она.

Прасковья поглядела на неё безумными глазами и заметалась во все стороны.

— Где Алёшка? Да тут Алёшка!.. Где же ему быть? Ребята, где Алёшка?!

И все вместе с нею заволновались, забегали, закричали:

— Алёшка!.. Алёшка!.. Где Алёшка? Не видали Алёшку?

Алёшки нигде не было.

Прасковья схватила себя за голову и отчаянно завывала:

— Милые мои, да что же это я наделала! Забыла!.. Ребёнка забыла! Там он... в сарае остался... в люльке... Люди добрые! Спасите! Помогите!..

Она как сноп повалилась на землю. Бабы бросили свои сундуки, мужики послезали с крыш, все обступили Прасковью.

— Вот беда-то! — говорили в толпе. — Петрович где? Позовите Петровича!..

— Да нету его, он за водой поехал!.. Ой! Сгорит мальчонка-то! Ребята, кто посмелее, лезь на двор, там он, слышь, в люльке под сараем...

— Да, лезь!.. — откликались другие. — Сам полезь, кому жизнь не дорога... Ишь, вон уже ворота загорелись... Чего там лезь: полон двор дыму, небось уж задохся... Много ли ребёнку нужно...

Покуда переговаривались, из-под ног у мужиков, откуда ни возьмись, вынырнула маленькая фигурка, на минуту осветилась красным заревом и скрылась в воротах, откуда уже выползали серые клубы дыма. Толпа ахнула.

— Смотрите-ка, смотрите, девчонка побежала!..

Чья это такая? Никак, Волчонок! Так и есть — она... Нянчила Алёшку-то... Ох, родименькие, сгорит, право слово, сгорит...

— Э, да что тут разговаривать! — крикнул молодой мужик, спрыгивая с телеги, на которой только что привёз бочку с водой. — Ребята, давайте у кого тулуп есть! Бабы, несите полотенце! Что ж, пропадать, что ли, ребятишкам? Авось вытащу! Ну-ка наудалую, авось вывезет!..

В руках у него очутился чей-то тулуп, бабы совали ему полотенца. Парень надел тулуп, плотнее подпоясался, голову обмотал полотенцем и, вылив на себя ведро воды, кинулся за Ганькой. В эту минуту крыша избы с треском провалилась, и груды раскалённых головешек засыпали двор. Из ворот пахнуло горячим дымом и гарью, толпа в ужасе отшатнулась.

— Пропали! Пропали, родимые!.. — заголосили бабы. У мужиков на глазах выступили слёзы.

Но вот в воротах что-то мелькнуло, дым заколыхался, и парень, тяжело дыша и кашляя, выскочил на улицу. В одной поле тулупа у него была завёрнута Ганька, в другой — Алёшка, и ещё издали было слышно, как они оба ревели на разные голоса.

Не успел он поставить их на ноги, как ворота за ним вспыхнули ярким пламенем и тоже обрушились наземь.

— Ну и вовремя я выскочил! — весело сказал парень, вытрясая из тулупа свою ношу. — Нате, получайте малышей! Живы-живёхоньки, ни одного волоска не опалило. Ишь как ревут! По крику-то я их и нашёл. Вхожу во двор — там зги не видно! Глаза так и ест. А по сараю уж огоньки бегают, вот-вот загорится. Ну, думаю, где мне их искать? Как слышу — пищит девчонка: «Алёшка, Алёшка!» Глядь, а она у меня под ногами карабкается. Прижала к себе мальчонку, глаза зажмурила да и ползёт сама не знает куда. А искры так и сыплются



*Но вот в воротах что-то мелькнуло... и парень, тяжело дыша
и кашляя, выскочил на улицу.*

кругом, так и сыплются... Тут я их — цоп! — подхватил обоих да в тулуп, да на улицу... Вот ведь какая девчонка молодец! Ведь если бы не она — сгорел бы малый-то!

А Ганька, как только отчихалась от дыму и протёрла хорошенько глаза сарафаном, так подцепила Алёшку на руки и подошла к Прасковье.

— Тётенька, тётенька, Алёшка-то жив! Вот он, гляди-ка, на тебя смотрит, смеётся!

Прасковья обхватила их обоих руками, прижала к себе да так и не выпускала, — точно боялась, что их у неё отнимут.

Приехал с речки Петрович, и все наперебой начали ему рассказывать, как Алёшку под сараем забыли, как Ганька за ним в огонь побежала и как потом их обоих парень оттуда вытащил. Петрович подошёл к жене и сказал:

— Ну, не плачь, Прасковья, радуйся, плакать не о чем. Что там изба! Не в избе дело: как-нибудь соберёмся, новую поставим. Пуще всего Алёшка-то жив, это дороже золота, а не будь у нас Ганьки, не было бы и Алешки, — стало быть, вместо избы две радости у нас: сынок да дочка...

— Ох, Петрович, да разве я об избе?.. — со слезами прошептала Прасковья и ещё крепче прижала к себе Ганьку и Алёшку.

А изба догорала, и к утру от неё остались только кучи углей да почерневшая печная труба. Прасковья уже не плакала — некогда было плакать, нужно было устраиваться на новом месте. Один сосед дал им свой сарайчик, куда они не выстроят новой избы, а соседки натащили погорельцам хлеба, яиц, молока, горячих лепёшек, и каждая почему-то долго смотрела на Ганьку, точно никогда её раньше не видала, потом ласково гладила девочку по косматой голове и говорила Прасковье:

— Ну, милая, ты об избе не крушися, а радуйся — ишь тебе счастье-то какое привалило!..

Ганька с непривычки ёжилась, когда её гладили по головке, и про себя удивлялась: вот народ-то чудной! У дяденьки изба сгорела, без всего остались, а люди говорят: «Счастье»... И сколько она ни думала об этом, всё-таки никак не могла понять: да что же это за счастье такое вдруг привалило тётеньке Прасковье?..

МАМА НА ВОЙНЕ

I

В августе 1877 года по тротуару мимо Таврического сада торопливо шла молодая женщина. Это была высокая блондинка лет двадцати пяти; её густые вьющиеся волосы были подстрижены и красивыми локонами рассыпались по плечам; бледное лицо с большими карими глазами было серьёзно и озабоченно. Одета она была очень скромно — в серенький ватерпруф¹, чёрное шерстяное платье и соломенную шляпку без всяких украшений, в руках она несла связку книг в ремешке. Поравнявшись с воротами сада, она лицом к лицу столкнулась с маленькой чёрненькой девушкой, бежавшей к ней навстречу.

— Юрьева, здравствуйте! — воскликнула чёрненькая, схватывая блондинку за обе руки.

Они обменялись рукопожатиями и остановились, оглядывая друг друга.

— Вы с курсов? — спросила чёрненькая. — Ну, что нового? Когда экзамены? Я только что вернулась из деревни и ничего не знаю...

— А мне не до экзаменов, — сказала Юрьева. — Я на войну еду.

— Как на войну?.. — воскликнула чёрненькая с изумлением.

— Да так, решила. Говорят, там не хватает людей, вызывают желающих работать в госпита-

¹ Вáтерпруф — женское длинное летнее пальто.

лях и на перевязочных пунктах. На днях и у нас объявили это, ну, я и записалась.

— Вот как!.. — проговорила чёрненькая студентка в раздумье. — А как же экзамены?

— Нам дают отсрочку. Вообще условия очень хорошие: пятнадцать золотых в месяц и даровой проезд. Нас записалось двадцать человек.

— Кто да кто?

Юрьева пересчитала фамилии. Чёрненькая качала головой.

— Вот какие у вас события... А я сижу в деревне и ничего не знаю. У нас такая глушь, что и о войне ничего почти не слышно. Так, значит, едете? А вдруг убьют?.. Или тиф?..

— Ну, уж об этом думать пока нечего, — сказала Юрьева, но по лицу её пробежала лёгкая тень.

— Но ведь у вас дети?

— Они останутся с мужем.

— Молодец вы, Юрьева!.. Я бы, признаться, на вашем месте не решилась. Ну, до свидания, побегу насчёт экзаменов. Когда поедете — известите, провожать приду.

— Хорошо, прощайте!

Студентки расстались.

II

У Юрьевой было трое детей — две девочки, Мурка и Катя, и мальчик Лёня. Мурка была самая старшая: ей недавно сровнялось восемь лет, чем она очень гордилась. Каждому новому лицу, приходившему к ним в гости, она немедленно объявляла: «А мне уже восемь лет», — и если гость относился к этому заявлению с надлежащей серьёзностью, Мурка была очень довольная. Юркая, тоненькая, с живыми чёрными глазками, с длинными тоненькими ручками и ножками, она была похожа на весёлую, лукавую птичку, которая всё хочет

знать и всюду суёт свой любопытный остренький носик. Она ко всему постоянно прислушивалась и приглядывалась, на лету схватывала слова и сейчас же делала из них свои выводы; отличалась наблюдательностью и очень любила общество, в чём представляла полную противоположность с братом своим Лёней. Тот, напротив, так боялся людей, что когда к Юрьевым приходили гости, он старался поскорее куда-нибудь спрятаться и по целым часам простаивал за дверью или забивался под кресла, под кровати и в другие потаённые и неудобные места.

Зато в других случаях Лёня был очень самостоятелен и независим. Он всюду ходил один, любил ходить в лавку за покупками и чувствовал себя глубоко обиженным, если отец или мать выражали сомнение в его способности выполнить какое-нибудь сложное поручение. «Я сам, я сам!» — это были слова, всего чаще употребляемые Лёней. Несмотря на несходство характеров, между Лёней и Муркой существовала самая тесная дружба, и хотя они часто ссорились, но не могли обойтись друг без друга и, поссорившись, сейчас же и мирились, особенно если у Мурки имелась в запасе какая-нибудь сенсационная новость, которой она сгорала желанием поделиться с братом. Вертясь среди взрослых, Мурка всегда знала множество интересных вещей, и хотя рассказы её не отличались достоверностью, потому что она всё понимала по-своему, но Лёня ей верил и в глубине души сознавал, что Мурка знает гораздо больше, чем он. Вслух он в этом не хотел признаваться из самолюбия, и большая часть их ссор возникала именно из-за того, что Мурка уж чересчур старалась выказать своё превосходство над Лёней в знании жизни, а к его житейской опытности относилась с недоверием и пренебрежением.

Третья дочь Юрьевых, Катя, была вся ещё в будущем. Это был пухлый, розовый, улыбающийся

экземпляр, с огромными серыми глазами, ямочками на толстых щёчках и кудрявыми белыми волосиками. Ей только недавно минуло пять лет, и Мурка с Лёней смотрели на неё с презрением, как на низшее существо. За неповоротливость и толщину они прозвали её «купчихой», но Катя почему-то не любила этого прозвища, хотя и не знала хорошенько, что оно значит, и каждый раз, когда её так называли, горько плакала и кричала: «Не хочу!» Так как старшие дети не принимали её в своё общество, она жила себе в одиночку, и её целый день не было слышно. В детской у неё имелся свой особый уголок, где она распоряжалась и поддерживала необычайный порядок; самым любимым её занятием было разбирать и укладывать свои вещи, в числе которых находились самые разнообразные и, по видимому, совершенно ненужные предметы — осколки фарфоровой чашки, известной под названием «разбитенькой чашечки», старые конверты, бумажки от конфет и даже сломанная пряжка от папиной жилетки. Но хозяйственная Катя всё это собирала и берегла как зеницу ока, и какое горе было, когда к ней забиралась неугомонная Мурка и перерывала всё вверх дном! К характеристике Кати нужно ещё добавить, что она была плаксива и любила покушать, отчего у неё часто болел животик. Поэтому она хорошо знакома была с касторкой, и этот почтенный медикамент играл такую большую роль в её жизни, что она даже гостям предлагала вопрос: «А ты принимал нынче касторку?..»

III

Детей всегда отсылали спать в девять часов, но обыкновенно они не сразу засыпали, а усевшись в своих кроватках, при слабом свете ночной лампы, ещё некоторое время беседовали о событиях

дня или выдумывали разные интересные истории из жизни какого-то фантастического Миши. Эта история о Мише тянулась у них уже года два, и с каждым днём похождения этого необыкновенного героя становились всё удивительнее и грандиознее. Миша оказывал чудеса храбрости и великодушия: он переплывал моря и океаны, спасал погибавшие корабли, тушил пожары, укрощал диких зверей и даже умел летать по воздуху. Особенно изощрялась в придумывании этих чудесных историй Мурка, но и Лёня старался ей не уступать. Катя не принимала участия в сочинении, но интересовалась судьбой Миши и хотя часто засыпала, не дослушав, однако каждый вечер спрашивала, выглядывая из своей кровати: «А будем мы нынче разговаривать про Мишину житью?»

В тот день, когда Юрьева встретила с подругой у Таврического сада, дети, по обыкновению, улеглись в девять часов и с нетерпением ожидали, когда няня, Марья Ивановна, всё приберёт в детской, заставит лампочку бумажной ширмой и уйдёт. И только что она скрылась за дверью, из Муркиной кровати вынырнула чёрненькая головка и шёпотом спросила:

— Лёня, ты спишь?

— Нет, — отозвался Лёня и тоже поднялся в своей кровати.

— Ты знаешь новость? — продолжала Мурка таинственно.

— Нет, а что? — сказал Лёня и, взглянув на сестру, по выражению её лица понял, что новость очень важная.

— Мама на войну едет! — вымолвила Мурка торжественно.

Лёня долго молчал, поражённый известием.

— Ты врёшь! — сказал он наконец недоверчиво.

— Нет, правда! — торопливо заговорила Мурка. — Когда приходила Загурская, я слышала, как

она и мама стали говорить про войну и про раненых, а папа смеялся и сказал: «Ну, вот вас теперь генералами сделают!» А ты в это время сидел за сундуком, а потом мама сказала Марье Ивановне, чтобы она завтра купила в Гостином дворе большой чемодан... Что, неправда?

Лёня, подавленный такою массой доказательств, принуждён был согласиться, что правда.

— И ты думаешь, мама будет генералом? — сказал он в раздумье.

— Конечно, будет.

— И будет ходить в мундире, с крестами и саблей, как настоящий генерал?

— Да, — не задумываясь, отвечала Мурка.

— А как же папа?

— Папа останется с нами.

Лёне стало обидно за папу. Он любил и папу и маму одинаково и теперь думал, что уж если маму сделают генералом, то пусть и папу тоже. Вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль:

— Да ведь мама — женщина? Разве женщины бывают генералами?

Тут и Мурка призадумалась. В самом деле, они много видали и на улице и на картинках генералов, но все они были мужчины, и никогда между ними не встречалось генералов-женщин. Поэтому дети решили оставить этот вопрос открытым до завтрашнего дня и принялись обсуждать другой, не менее важный вопрос о том, что такое война. Лёня представлял себе войну так: выходят два войска и становятся друг против друга. Знамена развеваются, музыка играет, впереди стоят генералы в крестах¹, с саблями и командуют: пиф! паф!.. Вот так... Воодушевившись, Лёня схватывает подушку и запускает её в Мурку. Мурка отвечает ему тем же, и между ними завязывается отчаянная перестрелка

¹ Крест — орден в царской России.

подушками. Но в самый разгар пальбы из Катиной кровати послышался тихий плач, и военные действия прекращаются.

— Катя плачет, — сказал Лёня, прислушиваясь. — Катя, ты что?

— Я не хочу, чтобы мама уезжала на войну... её там убьют, — рыдала Катя. — Маму убьют...

Это не приходило в голову ни Мурке, ни Лёне. Они задумываются, маленькие сердца их наполняются жалостью и страхом, и они тихо начинают плакать. На пороге появляется испуганная Марья Ивановна с лампой.

— Дети, дети, что с вами? Отчего вы не спите? — спрашивает она.

Дети плачут, и Катя жалобно твердит: «Я не хочу, не хочу, чтобы мама ехала на войну».

IV

В квартире Юрьевых идёт суматоха. Марья Ивановна привезла из Гостиного двора великолепный коричневый чемодан с медными пуговицами, и мама укладывается в дорогу. Укладывать, впрочем, особенно нечего: несколько перемен белья, два платья — одно парадное, чёрное, в котором надо будет являться по начальству, другое — коричневое, рабочее, с чёрным клеёнчатым фартуком и такими же нарукавниками. В нём мама будет лечить раненых, — дети уже теперь знают, что она едет не драться впереди войска, с саблей наголо, как они себе раньше представляли, а ухаживать за больными и ранеными. Это тоже хорошо, и хотя мама, может быть, и не сделается генералом, но папа сказал, что крест ей всё-таки дадут, а ведь это всё равно. Потом мама начинает укладывать книги: анатомический атлас, известный у детей под названием «книги про ободранного человека»,

потому что на обложке нарисован человек с обнажёнными мускулами, военно-полевую хирургию Пирогова, учение о перевязках и много других. Дети деятельно помогают маме укладываться, таскают с этажерок книги и пытаются уложить в чемодан даже скелет, который стоит в углу, накрытый коленкоровым чехлом. Но оказывается, что скелет остаётся дома, и дети с сожалением водворяют его на прежнее место.

— Мама, а Томку ты возьмёшь? — спрашивает Мурка, таща маленькую белую собачонку, которая отчаянно визжит и барахтается.

— Нет, не возьму, — говорит мама, смеясь.

— А я было её причесала! — восклицает Мурка и выпускает Томку. Та, негодую, фыркает, встряхивается и забивается под диван, страшно недовольная происходящим в квартире беспорядком.

В это время Катя долго что-то возится в своём углу, перебирает вещи, разговаривая сама с собою, и наконец выходит из детской, неся что-то, тщательно завернутое в бумажку.

— Мама, — говорит она, — а я тебе свою «разбитенькую чашечку» подарю. На, возьми...

Мама смеётся, но на глазах её выступают слёзы, и она, чтобы скрыть их, целует Катю и благодарит её за подарок. «Разбитенькая чашечка» тоже укладывается в чемодан рядом с пироговской хирургией и десмургией (учебник перевязки ран) Карпинского...

V

Через несколько дней на Николаевском вокзале происходили проводы уезжающих на войну студентов. Провожать их собралось много народу: знакомые, родные, товарищи — студенты и студентки. Среди обычной публики, наполнявшей вокзал и платформу, эта группа обращала на себя внимание своим особым внешним видом. Скромные костю-

мы и стриженные волосы у женщин, светлые пуговицы и погоны студентов-медиков, широкополые шляпы и пледы студентов университета, оживлённые молодые лица... Несмотря на то что студентки уезжали на тяжёлый труд и тяжёлые лишения и впереди их ожидали все ужасы войны, болезнь и, может быть, смерть от тифа или от шальной пули, все были бодрь, веселы, и беззаботный молодой смех часто слышался в их группе.

С этой партией уезжала и Юрьева. Её провожали всем домом — муж, дети и няня Марья Ивановна. Дети ещё не сознавали хорошенько всей торжественности этой минуты, и их больше всего занимала шумная толпа незнакомых людей, вагоны и паровоз. Лёню особенно интересовал паровоз: он не отходил от него, боясь пропустить тот момент, когда локомотив тронется с места, и во что бы то ни стало хотел посмотреть, как будут двигаться эти огромные железные лапы, которые устроены у паровоза по бокам. Мурка больше глазела на публику и даже успела завязать какое-то знакомство, причём не преминула сообщить новым знакомым, что мама уезжает на войну, что она получит крест и что ей, Мурке, уже восемь лет и она теперь будет вместо мамы. Только маленькая Катя не отходила от матери и робко жалась к её коленям, глядя на всё окружающее испуганным взглядом выпавшей из гнезда птички.

Послышался второй звонок. Публика заволновалась и бросилась к вагонам. Все теснятся у площадок; провожающие торопливо обмениваются рукопожатиями с отъезжающими; слышатся поцелуи, напутственные возгласы, плач.

— Где Мурка? Лёня! Идите прощаться с мамой! — кричит Марья Ивановна.

— Ну, прощайте, дети! — говорит мама. — Будьте умники, не шалите, пишите мне почаще. Да Катю не обижайте, она маленькая...



Маму провожали всем домом...

— Юрьева, идите садиться! — кричат ей через головы толпы подруги.

Третий звонок. Юрьева бросается к вагону, но на дороге оборачивается: ей кажется, что она что-то такое важное забыла сказать. Что такое? Нет, ничего... Ещё раз она всех целует и вскакивает на площадку. На глазах у неё блестят слёзы, но она старается улыбаться и весёлым голосом кричит: «До свиданья, до свиданья!..»

Поезд медленно трогается. Лёня бросается к паровозу смотреть, как двигаются железные лапы; Мурка устремляется за ним. Лапы двигаются всё быстрее и быстрее, что-то тяжело пыхтит в железной груди чудовища; вот оно дохнуло, и всё заволокло горячим дымом и паром. Мелькнул белый платок и исчез; вагоны бегут, бегут; колёса как будто торопятся за ними... И вот уже ничего нет, и на платформе пусто и тихо...

— Мама, мама!.. — кричит Катя, протягивая ручки вслед убегающему облачку дыма.

Её все уговаривают, утешают и едут домой. Вся дорогу Лёня без умолку рассказывает о паровозе и спорит с Муркой; но когда они приезжают и входят в опустевшую квартиру, где уже нет мамы, но всё ещё о ней так живо напоминает, когда запертая в чулане Томка выскакивает их встречать, обнюхивает их платья, ищет чего-то и вдруг начинает жалобно визжать, — дети затихают, смотрят друг на друга большими глазами и, наконец, раздражаются горьким плачем. Мама уехала!..

VI

Целую неделю дети горевали и плакали, наводя тоску на всех. Ещё днем ничего, они забывались, играли и шалили; но как только смеркалось и в квартире водворялась какая-то особенная грустная

тишина, дети залезали под обеденный круглый стол и принимались реветь, причём Томка им неизменно подвывала. И никакие уговоры, ласки, развлечения не могли остановить этого припадка горя. Когда источник слёз иссякал и дети начинали уставать от плача, Мурка приносила какую-нибудь мамину вещь, клала её перед собою, и, глядя на неё, все трое с новыми силами принимались рыдать. Иногда для взрыва горя достаточно было даже нескольких слов вроде того: «А вон мамин скелет стоит!» или: «А вот на этом стуле мама сидела», и в придумывании этих слов особенно изощрялась Мурка. Вечерние беседы в кроватках, при слабом мерцании ночника, касались тоже главным образом мамы, и знаменитый герой Миша был забыт.

Однажды папа, возвратясь со службы, принёс большую карту, повесил её на стене и сказал, что по этой карте они будут путешествовать вместе с мамой, отмечая красным карандашом все те места, где мама будет проезжать. Детям это очень понравилось, и, вооружившись красным карандашом, они отправились в путь. Вот Николаевская дорога и Москва... Какая она маленькая, а Марья Ивановна говорит, что в ней сорок сороков церквей!.. Вот Курск... вот Киев... Ох, далеко, однако, уехала мама! Была почти на самом верху, а теперь красная черта вон куда спустилась. Ну, а где же она теперь? Второпях Лёня переправился через Чёрное море и заехал в Константинополь, взяв его раньше, чем до него дошли наши войска; но папа вернул его назад и сказал, что надо подождать письма от мамы, прежде чем ехать дальше.

Наконец пришло и письмо. Мама писала из Бухареста, что доехали они благополучно и теперь сидят в Бухаресте, ожидая дальнейшего назначения. Ходят слухи, что на Шипке был бой кровопролитный и раненых очень много; говорят также,

что русские отступают и война затянется надолго. Но это ничего, а неприятно то, что они должны сидеть в Бухаресте, когда там, на Дунае, может быть, требуется помощь. Они горят нетерпением как можно скорее приняться за дело... В конце письма была приписка: «P. S. Ну, что детки? Здоровы ли, веселы и не скучают ли? А я до сих пор, как останусь одна, так вспоминаю крик Кати: «Мама, мама!..» И на днях, разбираясь в чемодане, вдруг наткнулась на её «разбитенькую чашечку» — и так мне стало грустно-грустно...»

— Милая мама! — сказала Мурка, когда папа дочитал письмо, а у Кати уже глаза были полны слёз. — Папа, дай нам поцеловать письмо; мы будем воображать, что целуем её самой.

Папа дал всем по очереди поцеловать письмо и, видя, что дети готовы расплакаться, сказал:

— А ну-ка, где он, Бухарест-то? Поедемте-ка к маме!..

— Я, я пойду! Я сам! — закричал Лёня и, взобравшись на стул, стал искать Бухарест.

VII

В этот же вечер Мурка уселась писать маме ответ. Она взяла у папы лист самой лучшей почтовой бумаги и, широко разложив локти на столе, начала выводить самым лучшим своим почерком: «Милая мамочка! Мы очень рады были, когда получили твоё письмо. Мы о тебе все скучаем, и Томка тоже; как ей скажешь: «Где мама?» — она бежит в переднюю, царапается в дверь и визжит. А я теперь совсем не шалю и вчера починила папе носки. Папа нам подарил краски, и мы с Лёней рисуем человечков, потом вырезаем их и играем в войну. А Томка вчера самому главному Лёнину генералу откусила голову, и Лёня остался без генерала.

А у Кати опять болел животик, и она ни за что не хотела принимать касторку, а папа принёс из аптеки капсулы, и Катя подумала, что это сладкие янтари, и съела их; потом уж догадалась, что это не янтари, а касторка, да уж было поздно. По этому случаю папа сочинил смешные стихи, которые начинаются так: «Как часто меж людей под видом янтарей касторка в капсулах нахально щеголяет!..» Мы с Лёней очень смеялись, а Катя сердилась и плакала. Милая мамочка, мы тебя очень любим...»

Внизу крупными буквами, по линейке, Лёня сделал приписку: «Мамочка, видела ли ты настоящего, живого турка? И правда ли, что у них есть рога и хвост? Марья Ивановна говорит, что они черти, а я не верю».

Ещё ниже была нарисована в натуральную величину чья-то толстая лапка с кривыми растопыренными пальчиками и рукою папы было приписано: «За неграмотностью Катя Юрьева руку приложила».

Затем письмо было вложено в конверт, запечатано, и «сам» Лёня торжественно опустил его в почтовый ящик на углу Кирочной и Надеждинской. А на другой день уже летело туда, где гремели пушки, лилась кровь и в заражённом воздухе лазаретов слышались стоны умирающих.

VIII

На дворе сентябрь. С утра до вечера льёт холодный, липкий дождь; на улицах сыро, грязно и пасмурно, серый, зловонный туман висит над Петербургом. В двенадцать часов дня уже темно, как в сумерки. Дети сидят на окне и смотрят на улицу. Они ждут почтальона. Вот уже три недели, как от мамы нет писем. Где она? Что с нею? Папа говорит,

что с войны письма идут долго, а сам ходит невеселый и уже не шутит по-прежнему, — видно, что беспокоится. Марья Ивановна тоже всё вздыхает и молчит. И каждый день дети усаживаются на окна и глядят, не покажется ли почтальон. Им теперь хорошо знакома эта согнутая фигура в клеёнчатом плаще с капюшоном, с палкой в руке и сумкой через плечо. Какая огромная у него сумка, и вся набита письмами! Ведь вот получают же письма другие, а им всё нет... И детям кажется, что это почтальон виноват в том, что от мамы до сих пор нет письма. Противный, противный почтальон!..

— Идёт, идёт! — восклицает вдруг Лёня, хлопая в ладоши.

— Где, где?

— Вон он, вон он... Завернул за угол!..

Все трое, приплюснув носы к стеклу, жадно следят за почтальоном. Вот он показался опять... Идёт мимо. Противный!.. Нет, остановился, роется в сумке... Переходит через улицу.

— Миленький почтальончик, зайти, зайти к нам, — шепчет Мурка.

— Зайдёт или не зайдёт? — гадает Лёня и, зажмурив глаза, тыкает указательными пальцами друг в друга.

Скрылся. Должно быть, зашёл в подъезд. Дети замирают, прислушиваясь, не хлопнет ли дверь внизу. Катя роняет на пол башмак, Лёня и Мурка сердито на неё шикают. И их маленькие сердечки шибко-шибко бьются...

Звонок.

— К нам, к нам! — кричат дети и со всех ног бегут в переднюю.

Катя без башмака, который она так и не успела надеть, ковыляет за ними. Им кажется, что кухарка очень медленно отворяет дверь, и они торопят её. Наконец крюк с грохотом падает, и входит



*Все трое, приплюснув носы к стеклу, жадно следят
за почтальоном.*

почтальон. С плаща у него течёт вода, и, оставляя на полу мокрые следы, он идёт к окну, ищет в сумке и вынимает письмо.

— Господину Юрьеву!

— Я, я сам! — кричит Лёня и выхватывает у него письмо.

— Дай мне... хоть немножечко поддержать! — умоляет его Мурка.

— И мне! И мне! — пищит Катя, приподымаясь на цыпочки, чтобы взглянуть на письмо.

— От мамыши, знать, — сочувственно говорит кухарка.

— В отъезде она, стало быть? — спрашивает почтальон.

— Да на войне, вишь. В милосердных сёстрах, что ли...

Почтальон поворачивается уходить. В это время Лёня с любопытством ощупывает его сумку и заглядывает в неё. Сколько писем! Это, наверное, всё разные мамы пишут своим детям...

— Когда я вырасту большой, я тоже буду почтальоном! — заявляет Лёня.

— Ну, не дай вам бог, барин, — с улыбкой говорит почтальон. — Служба тяжёлая, а жалованьишка — только на харчи!

Он уходит, а дети с письмом возвращаются в комнату и начинают его осматривать. Какое толстое! И марка чудная, не похожа на наши.

— Это моя марка, — говорит Лёня.

Но Катя начинает морщиться и собирается заплакать. Лёня великодушно уступает ей марку, и опять они начинают любоваться письмом. Вот папа обрадуется!..

IX

После обеда, за круглым столом, на котором горит большая «семейная» лампа, происходит торжественное чтение мамина письма. Дети сидят,

тесно прижавшись друг к другу и во все глаза глядя на папу; тут же присутствуют Марья Ивановна и кухарка, которая стоит у дверей, подперев щеку рукой и по временам тяжело вздыхая. Все серьёзны и слушают с напряжённым вниманием. Мама пишет, что в Бухаресте они прожили девять дней, а теперь их перевели в Зимницу, маленький болгарский городок, битком набитый войсками, маркитантами, врачами и сёстрами милосердия. Войска идут на юг день и ночь, и на улицах только и слышится их мерный топот, а с юга беспрерывно тянутся повозки и телеги, наполненные ранеными. После битв на Балканах и у Плевны все госпитали, лазареты и палатки переполнены ими. Идут здоровые, бодрые, с песнями и музыкой, а возвращаются искалеченные, с оторванными руками и ногами, с предсмертным хрипением и стонами. Вид их ужасен...

— О господи, страсти какие, боже мой! — вздыхает кухарка — Вот также небось и Мишатка наш там мается... деверь мой. Не дай бог, эдак вот искалечат... жена останется, детки...

Марья Ивановна делает на кухарку сердитые глаза, и чтение продолжается. «Но унывать нам некогда, — пишет мама дальше, — мы завалены работой по горло. Раненых так много, что их некуда класть, некогда перевязывать. В лазаретных шатрах на 40 человек помещается и по 60 и больше. Перевязочных средств не хватает. Какая отвратительная бойня эта война!.. Это так ужасно, что первое время мне везде чудился запах крови, и я не могла есть ничего, кроме хлеба: вид мяса вызывал во мне головокружение и тошноту. Теперь нервы притупились...»

Дальше мама описывала своих товарищей по лазарету и сообщала разные подробности своей жизни. «Я теперь стала совсем военным человеком. У меня есть денщик, Кузьма Брылкин, который

чистит моё платье, готовит чай и ухаживает за мной, как нянька. Это предобродушнейшее существо, с огромной рыжей бородой и совсем детскими голубыми глазами. Меня он совсем не слушается и всё делает по-своему, но делает так хорошо, что я на него никогда не сержусь. Сначала он называл меня «ваше благородие», потом «госпожа докториха», а теперь часто величает попросту «барышня Юрьева». Относятся к нам, студенткам, все очень хорошо, только сёстры милосердия вначале посматривали на нас недоброжелательно, вероятно, по непривычке видеть женщину в качестве врача. Теперь, кажется, и они с нами примирились».

Письмо заканчивалось так: «Бьёт барабан... В палатку просовывается рыжая бородаща Брылкина, который говорит: «Барышня Юрьева, пожалуйста принимать раненых...» Спешу в лазарет... Боже мой, опять кровь, раны, стоны... Прощайте, милые мои, дорогие, не ждите от меня скоро письма. И это писалось урывками, целую неделю, за обедом и чаем... Новость: говорят, нас скоро переведут в Тырново. Ходят слухи, что будет новый бой под Плевной. В войсках и между бежавшими с юга болгарамы появился тиф... Некогда, некогда, некогда...»

К письму на отдельных листочках были приписки Мурке, Лёне и Кате, каждому порознь. «Не обижайте Катю», — писала мама, а Лёне сообщала, что видела настоящих турок и что у них нет ни хвостов, ни рогов, а такие же люди, как и все, и так же болеют, страдают, смеются и плачут...

— А что, Марья Ивановна, я вам говорил! — с торжеством воскликнул Лёня, обращаясь к няне.

Письмо прочитано, уложено опять в конверт и спрятано в ящик папина письменного стола. Но все долго ещё находятся под его впечатлением. Кухарка всхлипывает и сморкается в фартук, о чём-то тихонько перешёптываясь с Марьей Ивановной;

папа, задумчивый и молчаливый, ходит по комнате; Катя забилась в уголок и горько плачет.

— О чём ты? О чём? — спрашивают её.

— Мне солдатиков жалко!.. Им больно, больно!..

— Я теперь больше никогда в войну не буду играть, — заявляет Лёня серьёзно. — Мурка, а ты?

Мурка не отвечает, но достаёт из коробки «человечков», носящих следы многочисленных, кровопролитных войн, и бросает их в печку. Конечно! Полное разоружение и вечный мир! За человечками идут вырезанные из бумаги пушки, разноцветные знамёна, которые так величественно развевались над рядами войск, когда они выступали в поход при звуках победного марша — трум, трум, трутутум! — и всё, всё... Лёня деятельно помогает Мурке, но когда очередь доходит до великолепных генералов в красных, голубых и жёлтых мундирах, с крестами и саблями, с перьями на касках, он на минуту останавливается в нерешительности. Генералов ему жалко: они так хороши и так много пошло на них краски... Но после некоторого колебания он опоражнивает коробку до дна, и голубые, красные и жёлтые генералы отправляются туда же, в печку.

Х

На улице гудит и бушует вьюга. Все окна обледенели и сверху донизу покрыты причудливыми узорами; ветер гремит по крыше железными листами. Кухарка вернулась из булочной вся засыпанная снегом и жалуется на холод: Марья Ивановна говорит, что хороший хозяин собаку теперь на двор не выгонит. Но в квартире Юрьевых уютно и тепло; в детской топится печка; красный огонь поёт какую-то весёлую песню, и под это пение на стенах бегают и пляшут фантастические тени. В сто-

ловой на большом столе ярко горит лампа, и самовар тоненьким голоском выводит томные рулады. Все в сборе: папа пьёт чай и читает газету; Марья Ивановна вяжет что-то на длинных спицах; дети ужинают, и даже Томка тут, лежит на коврике у печки и одним глазом дремлет, а другим — поглядывает на детей. Ей тоже хотелось бы принять участие в трапезе и получить кусочек котлеты, да лень пошевелиться — у печки тепло и она так славно пригрелась... Все в сборе... только нет мамы. Где-то теперь она? Может быть, в это самое время, когда они сидят за самоваром в тёплой и светлой комнате, она мёрзнет в походной палатке, голодная, усталая, измученная, или лежит в жару и бреду, поражённая тифом, и нет около неё никого, кроме рыжебородого Брылкина... Давно уже нет от неё вестей, а в газетах пишут, что зима в Болгарии стоит суровая, госпитали переполнены солдатами с отмороженными ногами и руками, во всём чувствуется недостаток, и начались заболевания тифом. Между тем война затягивается, и кто ещё знает, когда она кончится. Плевна, наконец, взята, и дети с Марьей Ивановной ходили даже на иллюминацию, которую была отпразднована победа; но по ту сторону Балкан турки ещё держатся, и наши солдаты мёрзнут на снеговых вершинах Шипки. Дети всё это хорошо знают, потому что папа каждый вечер рассказывает им, что прочёл в газетах, а карту они исходили всю вдоль и поперёк. Мама в последний раз писала им уже из Тырнова, болгарского городка, где по кручам друг на друге лепятся белые домики, где улицы похожи на коридоры, а в ущелье бурлит и пенится река Янтра. Мама так хорошо описывала этот город, что дети как будто сами там были. Но как это далеко, как далеко!.. Оттого, должно быть, и письма так долго идут. А может быть, маме некогда писать... Им-то здесь хорошо, говорит папа, а ведь мама целый

день занята, ей не до писем; может быть, даже поест некогда, не то что писать.

Но, несмотря на эти утешения, в квартире Юрьевых что-то невесело стало. Папа всё ходит взад и вперед по своей комнате и хотя шутит и смеётся, но глаза у него не смеются. Марья Ивановна молчит и вздыхает и потихоньку шепчется о чём-то с кухаркой; глядя на них, и дети притихли, так что их и не слышно в доме. Они уже больше не играют в войну и не рассказывают друг другу о приключениях их героя Миши, а по вечерам, лёжа в кроватках, говорят всё о маме — чтобы она была жива и здорова и скорее вернулась домой. Почти каждый день к папе приходят её подруги-студентки и спрашивают, пишет ли она; но Мурка напрасно прислушивается к их разговорам в надежде услышать что-нибудь новенькое про маму (она хорошо знает, что взрослые между собою разговаривают совсем не так, как с детьми!) — ничего интересного они не рассказывают. Посидят, поговорят о войне, о своих профессорах, об экзаменах и уйдут, и опять в доме тихо-тихо и скучно...

Папа прочёл газету, свернул её и положил на стол. Мурка только этого и дожидалась.

— Папочка, что в газете про войну пишут? — спросила она.

— Ничего, Мурка.

— И про маму ничего не пишут?

— И про маму ничего.

— Какие скверные газеты! Про всех пишут: и про Османа-пашу, и про Скобелева, и про Гурко, а про маму — ничего! А ведь мама-то, уж конечно, лучше какого-нибудь Османа-паши. Осман-паша только и делает, что убивает людей, а мама их лечит и ухаживает за ними. Разве убивать лучше?

— Я не люблю Османа-пашу, — деловито заявляет Катя. — А Кузьму Брылкина люблю...

Наступило рождество. Какой это был весёлый праздник, когда мама была дома! Накануне дети всегда ездили с нею в Гостиный двор покупать ёлку, а потом каждый вечер собирались за большим столом, золотили орехи и вырезывали из разноцветной бумаги разные украшения, клеили коробочки и готовили сюрпризы. Папа тоже ездил куда-то и приносил с собой огромные таинственные свёртки, которые исчезали в его кабинете, так что даже любопытная Мурка не могла проникнуть в их содержимое. Ёлку зажигали на третий день, собирались гости, пели хором песни и танцевали под звуки скрипки, которую приносил один студент-медик, мамин товарищ. Теперь ничего этого не будет: мамы нет, студента со скрипкой нет — он тоже уехал на войну, — Марья Ивановна золотить орехи не умеет, и всё идёт не так, как следует. Противная война!

Но папа всё-таки купил ёлку — славную, кудрявую, зелёную ёлочку, с развесистыми ветвями и нежными душистыми иглами. Её поставили посредине комнаты, обвешали разноцветными фонариками, яблоками, апельсинами, и зажгли вечером 27 декабря. Когда она вся засветилась огнями, дети было радостно захлопали в ладоши, но вдруг притихли, расселись по углам и грустно смотрели на нарядную ёлку.

— Ну, что же вы присмирели? — сказал папа. — Разве не рады?

— У мамы нет ёлки... — прошептала Мурка и заплакала.

Катя с огромным апельсином в руках посмотрела на неё широко открытыми глазами и тоже заплакала. Лёня несколько минут крепился, потом не выдержал и присоединился к сёстрам.

— Не надо нам ёлки, папа, — всхлипывая, сказал он. — Не хотим мы без мамы.



*В тишине... слышались только рыдания детей и мерные шаги
папы...*

Огни потушили, ёлку убрали в угол, и в тишине полутёмной комнаты слышались только рыдания детей и мерные шаги папы, который задумчиво ходил из угла в угол.

А в это время на Балканах гремели пушки и кипел последний кровавый бой...

31 декабря было морозное, яркое утро. Солнце глядело во все окна, и на стёклах сверкали бриллианты. Колокольный звон глухо доносился с улицы. Марья Ивановны не было дома, она ушла в церковь; папа сидел в своём кабинете и писал, Мурка сочиняла маме письмо, а Лёня, поместившись за её спиной, глядел, как она тщательно выводила по транспаранту буквы.

«Милая мама! — писала Мурка. — Когда же ты приедешь? У нас была ёлка, только без тебя скучно. Мы все плакали, когда папа зажжёт фонарики...»

— Напиши, что и я плакал, — сказал Лёня.

— Не мешай! — вымолвила Мурка и продолжала: «Лёня тоже плакал. Катя съела один апельсин, и опять у неё болел животик. А мы не ели, потому что без тебя очень скучно. Катя ещё маленькая, а мы уже большие. Я после тебя выросла на целый вершок, вот ты увидишь — папа крестиком отметил на двери».

— Напиши, что и я тоже вырос! — опять вмешался Лёня.

«И Лёня вырос. А твой стаканчик-то голубенький он разбил — помнишь, который у тебя на этажерке стоял...»

— Постой! — прервал её Лёня. — Не пиши про стаканчик, не надо.

— Да я уже написала.

Мурка подумала и, решив, что ведь и вправду мама огорчится, зачеркнула написанное и вместо того сделала приписку: «Это секрет, что я зачеркнула; приедешь, сама увидишь. Мамочка, приезжай поскорей! Дай бог нам побольше таких людей...»

Последнюю фразу Мурка где-то поймала и теперь, вклеив её в своё письмо, осталась очень довольна. Совсем серьёзное письмо вышло, только остаётся подписаться и сделать такой росчерк, как у папы. Сначала крючок, потом длинная черта и на конце — крр., крр., крр... три завитушки и хвостик.

— Нет, ты не так! — заметил Лёня критически. — Это вовсе не по-папину. Дай, я сам сделаю!

— Да ведь письмо моё! — протестовала Мурка.

— Ну так что ж? Давай я тебе покажу, как надо...

Он тянул к себе письмо. Мурка не давала; в разгар борьбы чернильница вдруг опрокинулась, и произведение Мурки превратилось в одну громадную чернильную кляксу. Мамино письмо!.. Такое серьёзное, умное письмо!.. Нет, этого Мурка не могла вынести и, бросившись на Лёню, вцепилась ему в волосы. Лёня не остался в долгу, и между ними началась ожесточённая потасовка; Катя, страшно боявшаяся драки, закричала благим матом; на её крик вошёл папа.

— Боже мой, что это такое? — воскликнул он. — Драка? Война? Осман-паша и Скобелев? А ещё бранили Осман-пашу за то, что он дерётся. А сами-то, сами-то?

Дети, взъерошенные, красные, злые и немножко сконфуженные, прекратили военные действия и исподлобья глядели друг на друга.

— Это не я, папа, Осман... — задыхаясь, начал Лёня. — Это она первая... я нечаянно толкнул чернильницу, а она сейчас же в волосы...

— Письмо к маме... письмо... — сказала Мурка и, взглянув на скомканную, залитую чернилами бумажку, над которой она столько трудилась, горько заплакала.

Вдруг в передней послышался торопливый звонок... Это не Марья Ивановна — она никогда так

не звонит, она всегда степенно, потихонечку... Это, должно быть, почтальон... У Мурки сейчас же высохли слёзы, Катя перестала реветь, и все гурьбой бросились в переднюю.

— Марья Ивановна! — воскликнула Мурка разочарованно.

Да, Марья Ивановна с сияющим лицом...

— С радостью вас! — говорит она торжественно, кланяясь всем в пояс. — С победой и одолением!

— Какая победа? — спросил папа.

— Наши турку спобедили. Дочиста раскассировали; ни синь пороха не осталось...

— Да вы это вправду, Марья Ивановна?

— Господи боже мой, да когда же я врала?

— А помните... говорили, что турки-то на чертей похожи? — сказал Лёня.

— Бог с вами! — проговорила Марья Ивановна укоризненно. — Не хотите верить, не верьте, а я не в вас, я вас и ещё поражаю...

И Марья Ивановна извлекла из своего ридикюля письмо.

— От мамы, от мамы!.. — закричали дети, а папа схватил няню за руки и начал её целовать.

— Ну, давай, Лёня, помиримся... — застенчиво сказала Мурка, протягивая брату руку.

— Ну что ж, давай, — согласился Лёня. — Только ты в другой раз за волосы не трогай, а колоти лучше по спине.

— Разве тебе очень больно было?

— Конечно, за волосы очень больно, по спине не так — она ведь жёсткая...

— Я больше не буду, Лёня, вот увидишь! — горячо воскликнула Мурка. — Никогда не буду, ни за волосы, ни по спине...

Она замолчала, и слёзы навернулись у неё на глазах. Ей было стыдно, очень стыдно. Что теперь

скажет мама, когда узнает, что она дралась с Лёней? Ведь мама так на неё надеялась, мама думает, что она совсем большая, а она... Ах, какая она скверная и злая!..

И Мурке стало так грустно, что она не выдержала, незаметно вышла из комнаты и, забившись в самый укромный уголок детской, предалась на свободе угрызениям совести. А там в столовой слышались весёлые голоса, смех... Папа читает вслух письмо от мамы... а её, Мурки, там нет, потому что она гадкая, злая, драчунья, так ей и надо...

Вдруг, в самый разгар её горестных размышлений, дверь шумно отворилась, и в детскую ворвался Лёня, взволнованный, задыхающийся...

— Мурка, где ты? — закричал он. — Слышишь, мама едет!..

Мама едет!.. Мурка с мокрым от слёз лицом, с красными, напухшими глазами вылезла из своего уголка и бросилась к Лёне.

— Едет?

— Едет, едет, е-едет! — кричал Лёня и, вскочив на кровать, перекувырнулся, стал на голову и заболтал ногами, как он всегда делал в минуту величайшей радости и восторга.

— Лёня! — зашептала Мурка, плача уже не горькими, а счастливыми слезами. — Ты на меня не сердись, что я тебя за волосы... я тебе свою книжку с картинками подарю... и акробата... и зелёную краску...

Лёня слез с кровати.

— Да я на тебя уж не «сердуюсь», — сказал он снисходительно. — И акробата мне не нужно. А зелёной краски, пожалуй, дай, у меня вся вышла... — прибавил он после некоторого размышления.

Вечером у Юрьевых был настоящий бал. Забытую ёлку вытащили из угла и снова зажгли; папа купил пирожного, а Марья Ивановна в парадном синем платье и в чепце с лиловыми лентами раз-

ливала чай. После чая наряжались и встречали Новый год. Папа надел простыню, обсыпал себе голову и бороду мукой и изображал Старый год; Катю нарядили Новым годом, и хотя она всё-таки больше была похожа на купчиху, чем на Новый год, но вышло очень мило. Лёня оглушительно дудел в трубу; Мурка, забыв свои огорчения, стучала в медный таз; Томка визжала и лаяла; Марья Ивановна с кухаркой хохотали до слёз, и вообще было так весело, что даже мамин скелет, по уверениям Лёни, улыбался как-то особенно.

XII

Недели через две Юрьевы на двух извозчиках ехали на Варшавский вокзал встречать маму. Впереди ехал папа с Муркой и Лёней, а сзади — Марья Ивановна с Катей. Детям казалось, что извозчики едут очень тихо, и они ужасно беспокоились, что опоздают, что поезд придёт без них и что мама, пожалуй, не найдёт дороги домой.

— Ну-ка, папа, погляди, который час! — озабоченно говорил Лёня чуть не каждую минуту.

— Да я сейчас глядел, не бойся, не опоздаем.

Лёня ненадолго успокаивался и начинал читать мелькавшие по сторонам вывески, но скоро опять приподнимался на цыпочки, для чего-то глядел через голову лошади вперёд и кричал: «Но, но, скорей!» Ему казалось, что так они скорее доедут.

Мурка не выказывала такого нетерпения, но зато её тревожили другие вопросы.

— Папа, а мама нас узнает? А мы её узнаем? А вдруг она пройдёт мимо, и мы подумаем, что это не мама. Ведь она теперь уже не такая?



*Неужели это мама пробирается вон там, в толпе,
с растерянной улыбкой озираясь по сторонам?*

— Да уж не такая... Она теперь совсем другая. Но какая другая — этого Мурка никак не могла объяснить.

Поезд ещё не приходил, когда они приехали на вокзал, и на платформе было пусто, только носильщики группами стояли в разных местах, да начальник станции в красной фуражке и с красным носом разгуливал взад и вперёд. Лёня сейчас же им заинтересовался и подумал, что начальником станции быть гораздо лучше, чем почтальоном. Каждый день ходят поезда, паровозов множество — рассматривай сколько хочешь. Он только что собирался поделиться этой мыслью с Муркой, как вдруг вдали послышался гул, носильщики встрепенулись и забегали, а начальник станции прекратил свою прогулку и стал смотреть туда, откуда доносился гул.

— Вот и маму сейчас увидим! — сказал папа весёлым и взволнованным голосом, беря детей за руки и становясь ближе к краю платформы, чтобы лучше видеть проходящие вагоны.

Гул приближался, а вместе с ним приближалось и серое облако дыма. Пахнуло теплом и гарью, и чёрное чудище, тяжело дыша и медленно двигая лапами, словно от усталости, проползло мимо. За ним с тяжёлым звяканьем пронёсся один вагон, потом другой... третий... Стоп! Где же мама? Неужели это она пробирается вон там, в толпе, с растерянной улыбкой озираясь по сторонам? Она, она!.. Вон она увидела их, засмеялась, замахала рукой. Бежит к ним навстречу, спотыкаясь на дороге... Да, это мама, но какая же она стала худая, бледная, глаза стали ещё больше и... ни одного креста...

— Вот они!.. Здравствуйте... Живы? Здоровы? Катя! Мурка, а это ты? Марья Ивановна, и вы здесь? — задыхаясь, говорила мама, целуя то одного, то другого, смеясь и плача от радости.

Дети, оробев, смотрели на маму. Она была такая

же, но как будто и другая, и они немножко её стеснялись.

— Ну, однако, ты похудела! — сказал папа.

— Ну, что, это ещё слава богу! Хоть жива осталась. Столько пришлось вынести... Но об этом после. Дети, что же вы молчите и так странно смотрите? Не рады разве?

— Нет, они рады, только они опомниться ещё никак не могут, — отвечал за них папа, смеясь. — Ведь они думали, что ты генералом вернёшься, в мундире, в золотых крестах, а ты вон как, простым смертным...

Мама засмеялась, Мурка переглянулась с Лёней и уже смелее взглянула на маму.

— Мама, а где же Кузьма Брылкин? — спросила она. — Отчего ты не привезла его с собой?

Улыбка исчезла с лица мамы.

— Брылкина, дети, уже нет... Кузьма Брылкин не может вернуться в Россию — он умер!.. Ну, а теперь поедете домой...

Весь день мама рассказывала о войне и о своей жизни в Болгарии; весь день дети не отходили от неё, а к вечеру уже опять так привыкли к ней, как будто никогда и не расставались. И, ложась спать, они вдруг почувствовали себя так хорошо, как давно уже не чувствовали, — точно и кровать была мягче, и детская теплее, и завтра должен был наступить какой-то большой праздник... Ведь мама дома... и завтра будет дома, и послезавтра... и всегда...

Улёгшись в постель, дети немного помолчали, потом Лёня радостно вздохнул, выглянул из кровати и спросил:

— Мурка, ты спишь?

— Нет, не сплю.

— Хорошо тебе?

— Хорошо! — отозвалась Мурка счастливым голосом.

— И мне хорошо...

Он перекувырнулся, потом вдруг вспомнил что-то, сел и призадумался.

— А Кузьма Брылкин-то... — сказал он медленно и грустно. — Тебе его жалко, Мурка?

— Жалко... А может, у него тоже дети есть... Может, они ждут, а он не придёт...

Они притихли, охваченные непонятной тревогой и страхом. За стеной слышались весёлые голоса, и между ними слышнее всех — мамин голос... А что, если бы мама тоже не вернулась?

БОЛЬНИЧНЫЙ СТОРОЖ ХВЕСЬКА

Из заметок земского врача

Я приехал в село Стебеньки в один из самых мрачных дней мрачного ноября, по отвратительнейшей дороге и в сквернейшем настроении духа. До меня в этом селе был фельдшер, и в земской управе¹ меня предупредили, что дела там порядком запущены и что управа ничего не будет иметь против увольнения фельдшера, если я найду это нужным. Я поэтому не ждал для себя ничего приятного впереди и заранее был уверен, что встречу в Стебеньках самую удручающую обстановку. Я даже не знал, найду ли там для себя хоть какой-нибудь ночлег и стакан горячего чая, а между тем я прозяб, был голоден, разбит от тряски и мокр, как мышь, потому что всю дорогу небо обливало меня самыми горькими слезами, точно оплакивая мою участь.

Я подъехал к избе, где жил фельдшер и помещались аптека и лечебница. Изба была большая, разделённая сенями на две половины, с крыльцом, над которым висела полинялая вывеска, а на вывеске красовалась надпись: «Земская Лечебня». По случаю дурной погоды везде было пусто, и на крыльце меня никто не встретил, но так как дверь была отворена настежь, то я беспрепятственно вошёл в сени, где у корыта возился и недовольно хрюкал курносый поросёнок. Направо и налево были

¹ Зёмская управа — орган уездного и губернского управления в дореволюционной России.

двери, но я, не зная, в которую из них следовало идти, стал посреди сеней и, подобно былинному богатырю во чистом поле, зычным голосом возгласил:

— Кто здесь есть жив человек?

В ответ на мой призыв дверь налево с шумом отворилась, и оттуда выскочила босая девчонка лет 13—14, в рваном пальтишке с непомерно длинными рукавами, в грязной тряпчонке на голове и с ребёнком на руках.

— Я — новый доктор, — объявил я. — Где фельдшер? Где сторож? Нельзя ли кого-нибудь позвать сюда?

Девочка окинула меня быстрым взглядом синих, как васильки, глаз и, ринувшись обратно в ту же дверь, откуда вышла, закричала пронзительно:

— Дяденька, идите, дяденька, доктор приехал!

Дверь за нею захлопнулась, в избе послышались тревожные голоса, а я остался снова один с курносым поросёнком, который, видимо, был недоволен моим прибытием и всячески старался выразить мне свои враждебные чувства.

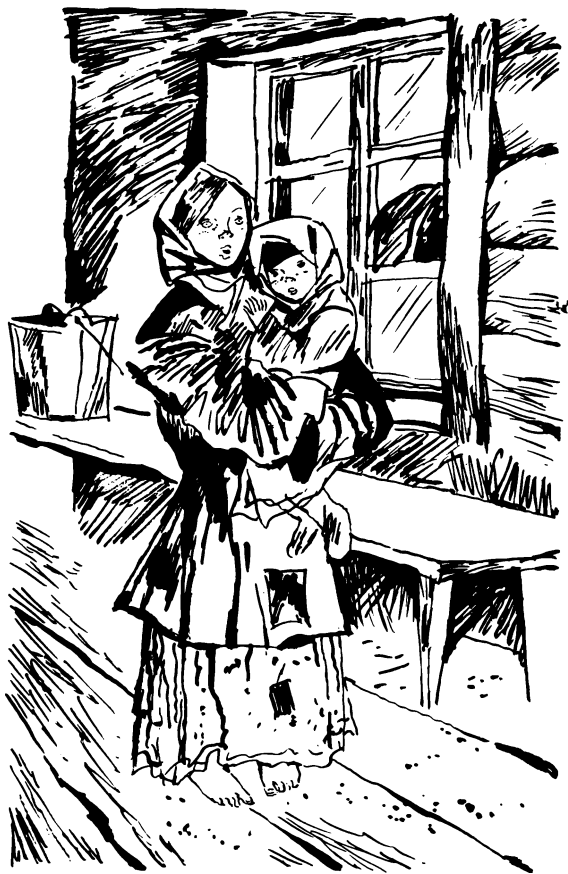
Девочка скоро вошла и, шлёпая по грязному полу, причём подол её ветхого пальто волочился за нею, повела меня направо.

— Идите, дяденька, сюды, а дяденька сичас придя!

— Это у вас и есть лечебня? — спросил я, входя в большую избу, дощатой перегородкой разделённую на две половины.

— Лечебня, дяденька; а дяденька в энтой избе живёт! — бойко объяснила девочка, стоя передо мною со своим ребёнком, точно солдат с ружьём перед начальством.

Я осмотрелся. Первое отделение избы, вероятно, представляло собой приёмную для больных, потому что вдоль стен здесь тянулись длинные скамейки, а в углу, на табуретке, стояло ведро с водой и на гвоздике была привешена заржавленная кружка.



...Девочка стояла передо мною со своим ребёнком, точно солдат с ружьём перед начальством.

В следующем отделении, служившем аптекою и докторскою комнатою, за прилавком стоял большой шкаф, уставленный банками и склянками, а ближе к двери — качающийся стол, на котором лежала распухшая книга для записи больных, два колченогих стула и ободранный диван. Беспорядок везде был страшный: на полу выросли целые пласты грязи, давно не белённые стены покрыты жёлтыми разводами; одно окно было разбито и заткнуто какой-то тряпкой, на прилавке в куче валялись позеленевшие от старости медные весы, немывые ступки, от которых пахло гнильём, баночки, пузырьки и всякая дрянь. Пока я всё это осматривал, девочка продолжала есть меня глазами и только изредка отворачивалась, чтобы двумя пальцами вытереть носик ребёнку.

— Ну, однако, и неказисто же у вас здесь! — сказал я. — Кто за порядком смотрит? Где сторож?

— Да это я сторож-то, — отвечала девочка.

Я посмотрел на неё с удивлением.

— Ты? Вот так сторож! Что же это ты, сторож, своё дело плохо исполняешь, а?

Глаза девочки испуганно заморгали.

— Да я, дяденька, всё делаю, что дяденька приказывает, — торопливо проговорила она. — Вы, дяденька, спросите дяденьку, он небось вам скажет!

— Ну хорошо, тётяшка, это уж после, а теперь ступай-ка, скажи ямщику, чтобы он мои вещи сюда нёс.

Через минуту все мои промокшие пожитки были перенесены в лечебню, причём девочка деятельно помогала ямщику. Она, не выпуская из рук ребёнка, вихрем носилась взад и вперёд, и бедный младенец часто оказывался в самых невозможных положениях, иногда даже чуть не вниз головой. Я отпустил ямщика, разделся, а фельдшер всё не показывался. Я уже начал было терять надежду увидеть его когда-нибудь, как вдруг дверь тихо скрипнула, и

передо мной очутился господин лет тридцати, низенький, довольно упитанный, с узенькими серыми глазками, в которых просвечивало явное недоброжелательство и испуг. Он, видимо, приделся: на нём был довольно приличный сюртучок, застёгнутый на все пуговицы; волосы были примаслены.

— Честь имею представиться — фельдшер Кудакин! — отрекомендовался он.

— Очень приятно. Садитесь, пожалуйста!

— Ничего-с, я и постою! — поспешно сказал фельдшер, и в глазах его ещё резче обозначились испуг и недоброжелательство. Очевидно, такое начало показалось особенно зловещим.

Я спросил его, нельзя ли мне подать сюда самовар и затопить в лечебне печку, и, получив на то и другое его милостивое согласие, отрядил девочку-сторожа за дровами и самоваром. Мы остались одни.

— Скажите, пожалуйста, это у вас всегда такая грязь и беспорядок? — спросил я.

Господин Кудакин беспокойно оглянулся, и усики его зашевелились.

— Помещение плохое-с.

— Помещение помещением, а вот грязь-то откуда? Эта девочка у вас сторожем при больнице служит?

— Т... так точно-с! — с запинкой сказал фельдшер. — Трудно найти подходящего. Здесь народ — лентяй, господин доктор, работать не хотят.

— Может быть, жалованье недостаточное? Вы сколько ей платите?

Кудакин покраснел, и глаза его забегали, как мыши.

— Д... два с полтиной, — вымолвил он так, как будто сам не верил своим словам.

— Это мало. Прибавить бы нужно.

В это время девочка, уже освобождённая от младенца, втащила самовар, и фельдшер, пожелав

мне приятного аппетита, удалился. Пока я распаковывал свои чемоданы и заваривал чай, мой босоногий сторож оказывал чудеса расторопности и сообразительности. Она мигом убрала со стола книгу и чернила, притащила от фельдшера скатерть и посуду, затопила печку, вымела пол, помогла мне заправить и зажечь лампу и стала у дверей, не сводя с меня своих быстрых глаз.

— Может, вам, дяденька, яичек достать? — спросила она.

— Да где же ты их достанешь?

— А у хозяина. Сичас сбегаю. Может, и молока нужно?

— Давай и молока.

Девочка живо куда-то слетала и притащила десяток яиц и кубан¹ молока. В избе стало поуютнее; дрова весело трещали в печке; самовар кипел и ворчал во всю мочь. Я согрелся и повеселел.

— Ну, сторож! — обратился я к девочке. — Как тебя звать-ка-то?

— Хвеська!

— Это значит — Федосья? Ну, брат Федосья, спасибо тебе: и согрела, и напоила, и накормила! Спасибо.

— Не на чем! — степенно сказала девочка.

— Как не на чем? Без тебя бы я совсем пропал. Ну, а теперь расскажи мне, как это ты в сторожа-то попала?

— Да так же! Нас дома-то пять душ ребят, да все махонькие, я самая большая, а мамка-то у нас хвора, а тятка дюжа вином зашибает. Вот дяденька и говорит: «Пушай, говорит, девка-то в лечебню наймается, в сторожа; чем ей зря болтаться, будет полтину в месяц получать да харч». Я и нанялась.

¹ Кубан — большая кринка.

— Как полтину? Мне фельдшер сказал — два с полтиной.

Глаза Хвеськи загорелись негодованием.

— Что он врёт! — воскликнула она. — Какие два с полтиной? Сроду два с полтиной не было! Полтина в месяц да харч.

— Ну, ты больше и не стоишь, потому — плохо своё дело исполняешь. Смотри, какие у тебя полы грязные!

— Да ведь господи, да ведь кабы мне приказывали! У дяденьки я каждый день протираю, а здесь когда-когда; потому дяденька говорит: «Живёт и так, всё равно опять натопчут...»

— Так что же ты делаешь здесь?

— Как чего? Мало ли! Полы у дяденьки мою, бельё стираю, воду ношу, самовар ставлю, корову дою и чего велят...

Она даже задыхнулась, перечисляя все свои дела.

— А ребёнок это у тебя чей же был?

— Да всё дяденькин!

— Значит, и детей тоже нянчишь?

— Да как же! Такой уговор был, чтобы за дитём ходить. Всё делаю, что велят.

— А больных не принимаешь? — шутливо спросил я.

Но, к удивлению моему, шутка моя вышла вовсе не шуткой.

— А как же, и больных когда принимаю! — серьёзно отвечала Хвеська. — Вот приди кто после обеда, а дяденька отдыхает, а уж я знаю, чего кому нужно, и отпускаю. Вот наемдни тётке Лупандихе хины нужно было — я отпустила, а вчерась Ванька Пахомов от зубов дюже кричал — я ему капель давала.

— Ну и молодец же ты, Федосья! — воскликнул я, смеясь. — На все руки мастер, и только за полтину!

— Сичас провалиться, за полтину да харч!
А что два с полтиной — и в глаза не видела, вот тебе крест и святая троица!

После чаю я решил сейчас же залечь спать, а завтра встать пораньше, потому что уже убедился, что дела мне предстоит пропасть, и дела самого неприятного. Фельдшер не показывался, и на его половине царила могильная тишина, точно в неприятельском лагере перед сражением. Постель мне устроила опять Хвеська. С тою же кошачьей живостью она приволокла сена и разостлала его на полу у печки — на диване спать я не решил. Потом она всё прибрала, даже окна завесила простынями и ушла только тогда, когда мне уже решительно ничего не было нужно.

На другой день, чуть свет, меня разбудили осторожные, шмыгающие шаги босых ног, какая-то скребня и плеск воды.

— Кто это там? — спросил я.

— Это я, дяденька, вы спите! — отозвался тоненький голосок. — Я полы мою!

Но спать я уже не стал и, одевшись, зажёл лампу. Пол в приёмной уже был вымыт, и в печке ярко горел хворост.

— Когда же это ты успела? — спросил я Хвеську.

— Вона! Нешь рано? Я уж и корову подоила. Самовар несть?

— Да разве готов?

— Давно-о! Сами сказали, рано встанете, ну я и поставила.

— Тащи! — сказал я весело. Девчонка всё больше и больше мне нравилась.

Я сидел за чаем, когда явился фельдшер и, холодно со мною раскланявшись, принялся что-то возиться в аптечном шкапу. Он уже чувствовал непрочность своего положения, но на всякий случай всё-таки старался показать мне свою любовь к делу и старательность. Я попросил у него прихо-

до-расходную книгу, и на первой же странице мне бросилась в глаза запись: «Сторожу — 5 рублей».

— Господин Кудакин! — сказал я. — Что же вы мне говорили вчера, что платите Федосье два с половиной, а здесь записано пять?

— Так точно, пять! — угрюмо отвечал Кудакин. — Но так как некоторые обязанности взяла на себя моя жена, например, мытьё полов и аптечной посуды, то я распределил пополам.

— Странное распределение! Но вот ещё история: Федосья сказала мне, что вы ей платите только полтину, а между тем заставляете ещё доить вашу корову и нянчить вашего младенца? Это что за распределение?

Фельдшер уже совсем окрысился.

— Как вам будет угодно! Ежели вы верите девке больше, чем мне, это уж как угодно! И насчёт младенца тоже: неужто уж подержать младенца — преступление какое? Удивительно даже, право...

Он, ворча, удалился за прилавок, и через минуту треск и звон разбитой посуды возвестили мне, что он окончательно расстроен.

Между тем рассвело, и в лечебню стали собираться больные. Первая больная, получив рецепт, полезла вдруг за пазуху и безмолвно выложила передо мною пятак.

— Это что такое? — с удивлением спросил я, зная, что отпуск лекарств производится бесплатно.

— А за пузырь-то? — тоже с удивлением отвечала баба.

— Разве вы берёте деньги за лекарства? — обратился я к фельдшеру.

— За посуду беру, — мрачно отозвался тот, ожесточённо растирая что-то в ступке.

— Кто же вам велел?

Фельдшер молчал и ещё громче застучал пестиком.

Следующая больная поразила меня ещё больше.

Она прямо подступила к самому моему носу и, не отвечая на вопрос, чем больна, прошептала мне на ухо:

— Мне на гривенник иод-каменю дайте.

— Какого иод-каменю? Да ты чем больна?

— Я-то ничем, мой мужик хворает. Ломота у него, так нам сказали, иод-камень дюже помогает.

И она совала мне гривенник. Я обратил на фельдшера вопросительный взор, но он делал вид, что не замечает его, и продолжал свою оглушительную стукотню. Меня выручила Хвеська, которая, в качестве сторожа, присутствовала тут же и по очереди впускала больных.

— Это, дяденька, ей вон чего надоть! Постой, я сичас достану!

И, живо забравшись в шкаф, она, с знанием дела, вытащила банку с йодистым кали и поставила её передо мной.

Я всё понял. Кудакин не только взимал за «пузыри», но торговал также и земскими лекарствами, разумеется, в свою пользу. После этих двух открытий я старался избегать обращаться к нему с вопросами, а он, в свою очередь, вёл себя так, как будто меня здесь и не было. К счастью, на помощь мне опять пришла Хвеська, которая, как оказалось, знала аптеку гораздо лучше, чем Кудакин. Когда он затруднялся в чём-нибудь и не сразу мог отыскать нужное ему лекарство, она выскакивала из своего угла и говорила:

«Это, дяденька, не там, это в «сильнодействующих»! Или: «Да вы бы, дяденька, поваренной соли прибавили, она тогда скорей разойдётся» и т. д.

Фельдшер бросал на неё свирепые взгляды, но делал всё по её указанию, и, действительно, она оказывалась права. В конце концов уже и я стал обращаться к Хвеське, и она ни разу ничего не перепутала, а порошки делала так быстро и аккуратно, точно настоящий аптекарь.



Следующая больная поразила меня ещё больше.

С Хвеськиной помощью дело у нас шло как по маслу.

К двум часам лечебня опустела. Мы остались одни с Федосьей.

— Ну, вот что, Федосья, — сказал я. — Я тобой нынче доволен и, пожалуй, оставлю тебя в сторожах. (Федосьино лицо просияло.) Только смотри, чтобы всё было в порядке — я чистоту люблю. У меня будут новые порядки. Нянчить теперь шабаш, больше не будешь, корову доить тоже, но чтобы в лечебне — порядок и чистота. Жалованья тебе полагается пять рублей в месяц, харч твой. За беспорядок буду строго взыскивать: чуть что не по-моему — сейчас расчёт. Ну, вот тебе и всё: хочешь — служи, хочешь — нет.

Хвеська смотрела на меня во все глаза, точно не веря своим ушам и то краснея, то бледнея. Потом она всплеснула руками, заохала, засмеялась и бросилась было куда-то бежать, но я её остановил.

— Постой, чего ты? Ишь, обрадовалась! Ты ещё послужи сначала, может, мы с тобой не поладим.

Девочка отрицательно потрясла головой.

— Я, дяденька, стараться буду — ух, как!

С фельдшером у нас разговор вышел короткий. Он явился ко мне, видимо уже подготовленный к тому, что его ожидает, и на моё предложение прискивать себе другое место ответил мне с усмешкой: «Покорнейше вас благодарю!» — и величественно удалился. Это значительно облегчило мою задачу, и я вздохнул свободнее: нет ничего хуже, как отказывать, лучше самому получить отказ.

Мне оставалось ещё переговорить с хозяином избы насчёт поправок. Скоро мы сговорились с ним наилучшим образом. Решено было с завтрашнего же дня приступить к белению стен и починке оконных рам, а жена его взялась стряпать мне обед и стирать бельё.

Покончив со всеми этими делами, я почувствовал страшную усталость и с удовольствием растянулся на колченогом диване в ожидании заказанного самовара. «Вот теперь-то уж я отдохну!» — подумал я. Но не успел я ещё как следует приладиться к своему жёсткому ложу, из которого во все стороны торчали сломанные пружины, как вдруг в сенях изо всех сил хлопнула дверь, послышались чьи-то пронзительные крики и топот нескольких пар ног. Я выскочил в сени, мимоходом опрокинув корыто с помоями, к великому негодованию фельдшера поросёнка, и на крыльце увидел такую картину. В углу, дрожа всем телом и заливаясь слезами, стояла Хвеська, а на неё с двух сторон наступали Кудакин и его супруга с каким-то требованием.

— Что это такое? Что случилось? — спросил я.

Кудакин бросил на меня взгляд, полный ненависти, и ничего не отвечал, за него ответила супруга:

— Да как же, господин доктор, да что же это за порядки такие? Мы сами люди бедные, а ведь на ней вся одежда наша! Она к нам без рубахи пришла, мы её одели-обули, у ней ниточки своей нету! А теперича как вы ей этакое жалованье положили, она сама в средствах одеться, а мы люди бедные! Ну, сымай одежду, чего же ты стоишь?

Проходившие мимо люди останавливались. Хвеська плакала.

— Послушайте, однако! — сказал я. — Ведь не оставаться же ей голой на улице; подождите немного, когда она достанет себе во что переодеться. Неужели вам жаль этих лохмотьев?

— Для кого лохмотья, а для нас добро! Мы сами в нужде живём, нам не из чего дары дарить! Это уж пушай кто побогаче, тот и одевай всех нищих, а мы не в состоянии.

Народ прибывал.

— Послушайте, господа! — обратился я к толпе. — Не найдётся ли у вас какого-нибудь старья? Она вам потом заплатит — я за неё ручаюсь.

Мужики что-то мычали, бабы переглядывались и переминались. «Акулина, у тебя есть?» — «Ишь ты какая, давай сама! У меня у самой девочки...»

Наконец одна из них ушла и через несколько минут принесла в узелке рубашонку и юбочку, а мой хозяин великодушно пожертвовал старенький полушубок и рваные валенки.

— Ну вот тебе, Федосья, с миру по нитке — голому рубашка! — сказал я плачущей девочке. — Иди оденься да не плачь; тебе плакать ещё не об чем, у тебя грехов нету. Ты никого не обижала, никого не раздевала; это уж пускай грешники плачут да те, у кого совесть нечиста.

Ещё одна баба ушла и вернулась с платочком и кофтой. Хвеська переделалась, и лохмотья её были возвращены супругам Кудакиным.

Недели через две лечебница наша была неузнаваема. Стены были выбелены, окна вставлены, полы блестели как зеркало, потому что Хвеська каждый день натирала их кирпичом и потом мыла. В новом шкапу царил образцовый порядок, опять-таки благодаря Хвеське, которая строго следила, чтобы всё было на своём месте, и даже мне делала иногда строгие выговоры, когда я ставил лекарства не там, где следовало. Супруги Кудакины уже переехали куда-то, в их помещении теперь жил я, а на место фельдшера поступила фельдшерица-акушерка, Мария Францевна, которую Хвеська переделала в «Франтовну». Зажили мы все трое превосходно — тихо и дружно. Хвеська сделалась нашею любимицей и приводила нас с «Франтовной» в восторг своей расторопностью и необычайной сообразительностью. Для неё, кажется, не существовало ничего невозможного, что ни попросишь — моментально сделает, никогда ничего не перепутает, и всё это

с удовольствием, с сияющим лицом и без всякого понукания, что было особенно приятно видеть. Видно было, что работа ей самой нравилась, и часто приходилось даже её останавливать, когда она уж чересчур усердствовала.

— Федосья, да ты бы хоть посидела немного! — скажешь ей, бывало.

У неё сейчас улыбка до ушей и в глазах задорные огоньки.

— Ну, вот ещё! — возражала она. — Скушно так-то сидеть, небось лытки¹ заболят!

Больных наших она знала лучше нас самих — и по именам, и кто откуда, и даже название болезни.

Двадцатого числа я ездил в город, получил жалованье и, возвратившись вечером, позвал Федосью.

— Ну, вот тебе, Федосья, жалованье за месяц, — сказал я, вручая ей золотой. — Завтра Франтовна в город поедет, так посоветуйся с ней, чего тебе купить. Башмаки у тебя теперь есть, кофта есть (всё это подарила ей Франтовна), ну, а вот платья нет, рубашек нет, всё ведь на тебе чужое, так ты и сообрази, чего тебе надо.

Я взглянул на неё, ожидая видеть её сияющее лицо (я любил, когда она сияла: у неё тогда всё улыбалось — и глаза, и ямочки на щеках, и даже раздвоенный на кончике нос), но, к удивлению моему, она стояла передо мной понурившись и нерешительно вертела в руках золотой.

— Что же это ты такая? — спросил я. — Не рада, что ли?

— Нет, я-то рада, — вздохнув, сказала Федосья. — Да ведь всё равно тятенька всё пропъёт...

— Как пропъёт?

— Да так — придёт да всё отберёт.

¹ Лытки — здесь: ноги.

— А! Ну ладно, давай сюда деньги. Я сам всё тебе куплю, что нужно; а придёт тятенька — пошли его ко мне.

На другой день после приёма Федосья объявила мне:

— Дяденька, там тятенька пришёл. В сенях дожидается.

— Зови сюда.

Через минуту осторожное покашливание и таинственный шёпот возвестили мне о прибытии «тятеньки». Я вышел в переднюю и у двери увидел обтрёпанного мужичка в стоптанных лаптях, в дырявой шапке, из которой во все стороны торчали ключья пакли, и с длинной палкою в руках. Весь он был какой-то развинченный; руки у него болтались, как совершенно ни на что не нужные; жидкие ноги выпирали коленками вперёд, точно им было не под силу поддерживать неуклюжее хозяйское туловище. Добродушная физиономия его была покрыта множеством мельчайших морщин, из которых беспечно выглядывали ясные голубенькие глазки, удивительно напоминавшие глаза Хвеськи, но главным украшением этого лица был нос — большой, пунцовый, он цвёл и лоснился, как распустившийся мак. Федосья стояла тут же в сторонке и с жалостью и грустью, как матери смотрят на своих неудавшихся детей, смотрела на родителя.

— Что скажешь, милый человек? — спросил я.

— Да вот за жалованьем пришёл, — отвечал мужичок и счастливо улыбнулся.

— За каким жалованьем? Ты у нас не служишь.

Мужичок, очевидно, был немножко озадачен и вопросительно поглядел на дочь, как бы ожидая от неё поддержки. Но Федосья молчала.

— Да я-то не служу... точно что... дочь вот служит... так я, стало быть, за дочериным... — запинаясь, сказал мужичок.

— Да как же это так? А она-то что же будет



Федосья стояла тут же... и с жалостью и грустью... смотрела на родителя.

делать? Ей тоже деньги нужны. Ты погляди на неё, ведь на ней всё чужое, добрые люди на время дали; ну, а если они всю одежду назад потребуют, ведь она голая останется! Как же тогда?

— Да ведь кто ж её знает... ведь кабы достатки наши... а то ведь и мучки надо, и того, и сего, а у меня их четыре души, да баба, да сам-шест... Пушай уж её, как-нибудь перетерпит.

Я было хотел разозлиться, но вместо того рассмеялся.

— Да как же перетерпит, чудак ты человек, что же ей, так голой и ходить? Ты вот, большой, здоровый человек, себе на хлеб не можешь зарабатывать, а ведь она — девочка, и ты же с неё последнее тянешь, разве это порядок? И потом, вот тебе ещё мои последние слова: голую её я держать не стану; у нас нужно, чтобы служащие были прилично одеты, а то что это такое, точно нищие!

Я долго убеждал его, но он на все мои доводы, с улыбкою в глазах и с плаксивыми нотами в голосе, ныл одно и то же: «Мучки бы... сам-шест... нужда осетила...» и т. д.

— Ну ладно, — сказал я, наконец, потеряв терпение. — Вот тебе полтина на мучку, и ступай себе с господом!

Но мужик не уходил и, внимательно рассматривая полтинник, топтался на одном месте.

— Как же это так полтину? — бормотал он. — Мы слышаны, что ей пять рублёв положено, а теперь полтину! Мы не согласны!

— Ну, не согласен, так давай деньги назад и уходи...

— Уходить? Ну, коли такое дело, я и девку возьму. Что ей здесь за полтину-то воловодиться? Она дома больше заработает.

— Да ведь прежде же фельдшер платил ей полтину!

— То допрежь, а теперь мы не согласны. Хвеська, собирайся!

— Ну, что делать, Федосья? — сказал я. — Ступай с отцом домой. Это валенки-то на тебе чьи? Хозяйские? И полушубок тоже? Ну, так сымай валенки! Сымай полушубок! Сымай рубаху! — говорил я, глазами показывая Федосье, что всё это нарочно.

Федосья живо стащила один валенок, потом другой и взялась было за полушубок, но отец, видя, что дело-то нешуточное выходит, вдруг решительно махнул рукой:

— Не надоть! Пушай живёт! Хвеська, живи! Вот я какой человек... Полтина так полтина... пушай! Где наше не пропадало...

Он ушёл.

— Пропьёт. Всё как есть пропьёт! — горестно восклицала Хвеська. — И мамыньке ничего не оставит, чего они теперь есть-то будут... Зачем вы ему давали?!

— А ты не убивайся, Федосья! — утешал я её. — Вот Франтовна закупит тебе, что нужно, а на остальные ты возьми муки, крупы, что там ещё понадобится, и отнеси матери. Так-то лучше будет.

Так мы и делали впоследствии, и, являясь аккуратно в дни получки жалованья, родитель больше гривенника не получал!

Поправились у нас Федосья, приделась и стала ещё проворнее и веселей. С Франтовной у них завязалась тесная дружба, и они вечно шушукались между собою, то о какой-нибудь необыкновенной кофточке с «пучком» назади, виденной у поповны в церкви, то о деревенских больных и их делах, которые Федосья знала до тонкости, то, наконец, о том, чем человек дышит, чем думает и где у него душа.

Всем этим Федосья очень интересовалась, и Франтовна кое-чему учила её, так что Федосья теперь могла не только «отпускать» капли, но умела

варить разные лекарства, готовить сложные мази и даже ставить банки от «воспаления крови», как она выражалась.

— Тебе бы доктором быть, Федосья, — шутил я иногда.

Хвеська начинала сиять.

— Уж вы скажете! — говорила она. — Доктором... Кабы я грамотная была!

— А за чем же дело стало? Вот купим букварь, да и давай учиться.

— А стыдно! У нас девки не учатся — засмеют.

— Пускай себе смеются! Смеются дураки, а умные похвалят.

Девочка задумалась. Скоро я стал замечать, что она как-то пристально приглядывается к книжкам и газетам, и однажды очень был удивлён, когда Федосья вдруг ткнула пальцем в лежавшую передо мной книгу и, улыбаясь во весь рот, объявила:

— А ведь это «а»!

— Почём ты знаешь? — спросил я.

— Хозяйский Мишанька показывал. Он в училищу ходит и все буквы знает. И я теперь знаю. Только я хорошо-то разбираю — какие побольше, а мелкие ещё плохо.

— Молодец! — похвалил я. — Ну, подожди, поеду в город, привезу тебе букварь, будем учиться!

Но Федосья застыдилась, замахала руками:

— Нет, дяденька, не надоть! Да господи, да меня засмеют! Ни за что не буду! Да нешто это возможно?

И она, смеясь, убежала.

Но Федосья хитрила, и я догадывался, что она втихомолку продолжает долбить букварь, потому что у нас вдруг начало выходить огромное количество керосину, и огонь в лечебне горел почти до полуночи. Прежде, бывало, Федосья, как уберётся,



*...Я вижу... одинокий огонёк, мерцающий в окне лечебни,
и вижу склонённую над этим огоньком голову Федосьи...*

так и заляжет спать, а теперь, как ни выглянешь из окна, всё тянутся из лечебни светлые полосы — значит, бодрствует наш сторож. Я попытался снять с неё допрос.

— Что это у нас, Федосья, керосину больно много выходит?

— А что? — испуганно спросила девочка. — Нешто нельзя?

— Нет, отчего же, жги себе на здоровье, только что это ты там делаешь? Колдуешь, что ли?

— Вы уж скажете! Колдуешь... Этакие слова и понарошке говорить негоже... Я коли и вовсе лампу не буду зажигать!

— Ну, вот тебе и раз! Сиди хоть всю ночь, сделай милость, мне керосину не жалко. А так, любопытно мне, что ты там корпишь?

Федосья отмалчивалась, но как ни хитрила, а всё-таки попалась.

Выхожу как-то раз после обеда в сени, только что отворил дверь, а из-под самых ног у меня как выскочит какой-то карапузик и давай бог ноги прямо на двор. Я только и успел заметить большущую косматую шапку да лукавые глазёнки, блеснувшие из-под неё. Смотрю, и Федосья тут же стоит, прижавшись в уголку, глаза испуганные, и что-то прячет за спиной. Спугнул парочку, и, очевидно, карапузик в громадной шапке — преступный сообщник.

— Что это вы тут делаете? — спросил я строго. — Это кто такой?

— А это... это хозяйский Мишанька... — запинаясь, вымолвила Федосья.

— Вот кто? А что это у тебя в руках? Ну-ка, покажи!

Федосья, вся красная от волнения, нехотя вытащила руки из-за спины и подала мне засаленную, ветхую, всю пропитанную мужицким запахом книжонку. Это было «Наше Родное».

— Ах вы разбойники! — смеясь, сказал я. — Вот оно отчего керосину-то у нас много выходит! Ну, а как же теперь дела? Всё ещё одни большие буквы знаешь или ещё что?

— Нет, я теперича и которые помельче могу, — прошептала Федосья.

— А ну, прочти!

Федосья взяла книжку и, немножко спотыкаясь, особенно на тех слогах, где были две согласные рядом, но всё-таки довольно вразумительно прочла несколько строк.

— Ловко! — сказал я. — Только зачем же прятаться-то? Это дело хорошее, таиться нечего — учись в открытую, а чуть что непонятное — спроси меня или Франтовну, мы с радостью тебе покажем.

— А смеяться не будете? — просяив, по обыкновению, спросила Федосья.

С этого дня она уже не пряталась, и в каждую свободную минуту её можно было видеть приткнув-шуюся где-нибудь у окна с книжкой, по которой она выводила нараспев: «Лысый, с белой бородой дедушка сидит...»¹

Теперь Хвеська порядочно читает, пишет, по-прежнему интересуется, где у человека душа, и когда, возвращаясь поздно от больных, я вижу среди безмолвного ночного мрака одинокий огонёк, мерцающий в окне лечебни, и вижу склонённую над этим огоньком голову Федосьи, которая с такими трудами и усилиями добывает знание, — я думаю: сколько таких огоньков рассеяно по Руси!

¹ Стихотворение И. С. Никитина «Дедушка».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>О. Ласунский. В. И. Дмитриева и её герои</i>	3
МАЛЫШ И ЖУЧКА	14
ВОЛЧОНОК	37
МАМА НА ВОЙНЕ	70
БОЛЬНИЧНЫЙ СТОРОЖ ХВЕСЬКА (Из заметок земского врача)	103

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Для младшего школьного возраста

Валентина Ивовна Дмитриева

МАМА НА ВОЙНЕ

Рассказ

Ответственный редактор

Н. М. Кожемякина

Художественный редактор

Н. Г. Нааденова

Технический редактор

Е. М. Захарова

Корректор

Л. М. Агафонова

Сдано в набор 27/VIII 1975 г. Подписано к печати
20/1 1976 г. Формат 60×90/16. Бум. типогр. № 1.
Усл. печ. л. 8. Уч.-изд. л. 5,95. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 829. Цена 34 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Детская литература». Москва, Центр. М. Черкас-
ский пер., 1. Калининский полиграфкомбинат детской
литературы им. 50-летия СССР Ростлавполиграфпрома
Госкомиздата Совета Министров РСФСР. Калинин,
проспект 50-летия Октября, 46.

- Дмитриева В. И.**
Д53 Мама на войне. Рассказы. Сост. и предисл.
О. Ласунского. Рис. В. Гальдяева. М., «Дет.
лит.», 1976.
127 с. с ил.

В эту книгу включены рассказы писательницы В. И. Дмитриевой (1859—1947), известной детскому читателю по рассказу «Мыш и Жучка».